

Мария Николаевна Гейнтце (урожд. Юнг)

## Воспоминания

Падение уравнивает всех. И у добродетели, и у честности бывают свои приключения – примеры тому видали. Общественный почет, как и всеобщее осуждение, требуют осмотрительности. Бывают странные неожиданности: ангел попадает в дом порока, жемчужина – в навозную кучу.

«Труженики моря»

В.Гюго

5-го сентября 1937 г. с самого утра стояла теплая, но какая-то гнетущая погода. Готовился дождь, но он все никак не мог прорваться. Наша дача приютилась в смешанном лесу на ст. Лианозово. Это всего 20 км. от Москвы. В этом году мы пригласили на дачу родителей Сережи из Куйбышева, где они жили. Старики возились по хозяйству, а я нежилась в постели. Положительно не хотелось вставать: не было солнышка.

Нащупав под подушкой записочку Сережи (уходя, он всегда оставлял мне несколько слов на бумаге), я прочитала ее с улыбкой, и мне показалось, что погода не такая уж пасмурная. Однако надо было вставать. Я вышла в сад, уже осенний, тусклый, но очень теплый. Валентина Семеновна готовила завтрак, Иван Игнатьевич читал газету, устроившись на ступеньке террасы.

– Доброе утро.

– Доброе утро, детка, сейчас будем завтракать, накрывай на стол на террасе, тепло.

– Есть накрывать на стол! Сегодня суббота, ура! Завтра Сережа свободен, пойдем в лес грибы искать.

– Правильно, ты его потаскай по лесу, а то он сидит целую неделю с логарифмической линейкой. А ты что собираешься сегодня делать?

– Я хотела порисовать, да никак не могу настроиться – то ли погода сегодня тяжелая, то ли мне как-то не по себе.

– А ты поезжай в парк им. Горького, развеешься и порисуешь там гипсовые фигуры.

– Правильно, я так и сделаю.

Собрала альбом, карандаши и на автобусе доехала до города.

В парке не было ни души. И как только я устроилась на скамье рисовать одного из греческих богов, пошел мелкий, сыпучий дождичек, так себе, ни то ни се. «Что за дьявол, – ворчала я – злоехидство какое-то, мог бы, кажется, в Лианозове завестись, а то здрасьте пожалуйста – разошелся! Не везло ни в этом внешнем мире, ни как-то внутри. Меня все тянуло куда-то, где меня якобы ждут, и поэтому, где бы я ни садилась, надо было вставать и искать направление – куда же меня тянет и почему такая щемящая тоска в груди?

Я не знала, что в это время в нашей квартире на Бакунинской улице шел обыск. Сережа сидел перед двумя мужчинами, которые проверяли каждую книгу, а у нас была большая библиотека, было перевернуто все, что было в комнате. 7 часов шел обыск – трудно пришлось сотрудникам НКВД! После обыска Сережу повели к машине, стоящей во дворе. На прощанье он кивнул соседке Тусе Рыбко, она сказала мне после, что он был бледен, как лист бумаги.

Ничего этого я не знала. Металась по парку под грустным тихим дождем, злилась на ворон, которые кружились над моей головой. Быть может, они хотели рассказать мне о том, что сейчас происходит у нас в квартире. Я подумала, не поехать ли мне на Бакунинскую, а там позвонить

Сереже на работу и вместе поехать на дачу? Да нет, дождь разошелся, поеду сразу в Лианозово.

Всю свою жизнь я не могла себе простить, что не послушалась этого внутреннего голоса и не проводила Сережу такими словами, которые были бы ему опорой в трудные часы его жизни.

Приехала я на дачу, вымокнув до нитки. И снова, и снова что-то мерзкое притаилось у меня в душе.

Вот и стемнело, упал на деревья сырой, лиловый туман. Дождь прошел, но тучи, свинцовые, тяжелые, стремились куда-то в лес, в вечернюю тьму. Что же Сережи нет и нет?

– Знаешь, Муся, я не могу больше ждать, поеду на Бакунинскую.

– Что ты, что ты, с ума сошла в такую погоду бежать неизвестно зачем, еще разъедетесь по дороге, мало ли почему человек мог задержаться, придет утром. Ведь уже около 12-ти – вряд ли он сегодня придет.

Улеглась спать. Как странно устроен человек и его нервная система! Я не могла уснуть ни на минуту. Нити, которые крепко связывали меня с Сережей, где-то оборвались, и я это хорошо чувствовала. Я знала совершенно отчетливо, что случилось несчастье, я только не знала – какое оно? Всю ночь воображение рисовало мне всевозможные катастрофы: автомобильные, крушение поезда, бандиты в лесу, болезнь, смерть – все что угодно, но только не то единственное, что случилось.

В 5 часов утра я вскочила и, не слушая уговоров родителей, с первым поездом приехала в город. До автобуса я бежала по лужам, сквозь проливной дождь, обдавая прохожих грязью; но я ничего и никого не видела и стремилась только как можно скорее покрыть расстояние, отделяющее меня от квартиры. Ах, если он дома! Если он там, если ничего не случилось! Как я брошусь к нему, как буду благословлять этот день, скорее, скорее... С автобуса до дома опять бегом, бегом... Нет, все-таки я знала, что беда есть, надо только узнать, какая она, скорее... скорее...

Влетела на пятый этаж, открыла дверь, столкнулась с соседкой Тусей и удивилась, что она быстро юркнула в комнату, не приветствуя меня как обычно.

Наконец я открыла комнату. Пусто, Сережи нет. На тахте никто не спал. Боже мой, где же он? Вижу на столе записку и все значки ЦАГИ, которые были прикреплены к пиджаку и никогда не снимались. Читаю небольшую бумагу: «Доверяю жене моей, Юнг М.Н., получить гонорар за статью такую-то, в сумме такой-то, в отделе таком-то. С.Красковский».

И это все? Да что же это такое? Ничего не понимаю. Выхожу в кухню. Туся объясняться со мной послала своего мужа Костю.

– Видите ли, Мария Николаевна, вчера Сергея Ивановича забрали прямо на работе, привезли сюда в двенадцать часов дня, семь часов был обыск, уж не знаю, нашли ли что-нибудь, но его взяли.

По тем временам «взяли» было делом самым обыкновенным. Обычно это было ночью! Сережу взяли днем, по-видимому, приходили ночью, но мы жили на даче, и, возможно, НКВД было неизвестно где. Я долго сидела в комнате совершенно отупевшая – вот оно какое несчастье случилось ВЧЕРА! Оно уже случилось, а я ходила по парку, моталась по городу, слонялась по даче из угла в угол, не зная, за что взяться, а в это время мой Сережа, весь смысл моей жизни...!, все мое счастье рухнуло в один миг, как построенный и устроенный дом в землетрясение...

В комнате все книги были беспорядочно сдвинуты со своих мест, во всем остальном был порядок. Я посмотрела, взял ли с собой что-нибудь Сережа. Вероятно, он, понимая, что скоро не вернется, взял полушубок Славы, своего брата, который жил с нами, пару белья, полотенце, мыло, зубную щетку.

Что же я сию? Надо ехать в Лианозово, сообщить родителям о судьбе Сережи...Обратный путь на дачу я уже не бежала. Только сердце лихорадочно билось в груди. Ноги налились такой тяжестью, что я едва могла их передвигать. Чем ближе я подходила к даче, тем медленнее шла. У

калитки меня совсем оставили силы... В это время Слава увидел меня с террасы и подбежал.

«Ну что там?» – спросил он с тревогой в голосе. Перед глазами у меня все поплыло, и я только почувствовала, как Славка подхватил меня на руки. Опомнилась в комнате, на тахте. Рядом сидела Муся и растирала мне руки, Иван Игнатьевич и Славка стояли посредине комнаты. «Сережу... арестовали...», – почему-то шепотом сказала я.

Это было воскресенье 6 сентября. В понедельник я поехала на Кузнецкий мост 24. В приемной было много окошек, где люди пытались навести справки о своих близких. Очереди были длинные и молчаливые, как тени в бредовом сне. Говорить боялись. А если произносились все же слова, то они были все на один лад: «Мой ни в чем не виноват, это какое-то недоразумение». К 4-м часам дня я подошла к окошку и увидела там безликую женщину.

– Скажите, где можно узнать, в какой тюрьме содержится мой муж Красковский?

– Этого мы вам сказать не можем, а кто вы такая, как фамилия?

– Юнг М.Н., жена.

– Можете идти, ничем помочь не могу. Следующий!

Там же в этой приемной стоящие в очереди люди мне посоветовали идти в Бутырскую тюрьму и передать на имя мужа 30 рублей. Если примут, значит, он там, если нет, значит надо идти в другую тюрьму. Передавать можно было 50 рублей. Чтобы чаще узнавать, там ли находится разыскиваемый человек, надо передать в месяц 3 раза: 30 р., затем 10 и еще 10 рублей. Поблагодарив за совет, я поехала на Лесную улицу, где находилась Бутырская тюрьма. Оказалось, там люди с 5 часов утра еще не подошли к роковому окошку. Очередь миллионная! Все хотят «врагам народа» несколько рублей передать! Страшные это были очереди.

Здесь было оживленнее, чем на Кузнецком. Люди познакомились и делились своим опытом. Я узнала, что арестовывают всю семью с корнем,

вплоть до детей, достигших 17 лет. Если дети маленькие, уводят мать, жену арестованного, и говорят ей, что через 2 часа она вернется, беспокоиться не о чем. Она с радостью дает себя увести – ведь она идет на допрос по делу мужа, быть может, все разъяснится и его выпустят, ведь он ни в чем не виноват! И так со всеми. Так как жен арестовывали, якобы ведя их на допрос, никто не брал с собой вещи, теплую одежду, а передачи не существовали совсем.

В этот день я уже не попала к окошку, а на другой день чуть свет приехала с первым поездом и встала в длинную очередь. Можно было подумать, что люди не уходили отсюда даже ночью. Оно так и было.

В 5 часов вечера моя очередь продвинулась до заветного окна, и я подала 30 рублей, назвав фамилию Сергея. Если человек находился в этой тюрьме, тебе выбрасывали квитанцию; если нет, говорили: «Такой не значится».

У меня взяли! Господи! Как же я обрадовалась! Как в мире все относительно! Вот так счастье! Я живо представила себе, как моему Сереже принесут эти деньги, и он будет знать, что его ищут, его любят, его ждут...

Его ждут. Если бы можно было знать, сколько придется ждать! И дождешься ли?

Во мне кипела энергия, каким-то непостижимым образом превращаясь из несчастья, как из бурного потока, в электричество.

Я лихорадочно начала рисовать, бегать по выставкам – скоро должны были начаться мои занятия в МОСХе, надо было представить как можно больше рисунков с натуры. Надо было подыскать себе работу: быть может, моя помощь еще долго будет нужна Сереже. Я должна быть сильной. Не хныкать! Не стонать! Не плакать! Работать!

Стояла дивная осень. Золотой лес, пронизанный солнцем, горел и тихо шумел.

Я ходила рисовать деревья, под ногами шумели мелкие листья и, точно сговорившись, повторяли всегда одно и то же: «Прощай, прощай, щай, щай...».

Летели дни. Однажды пришла знакомая А.А. и сказала: «Арестовывают жен, Марии надо уехать куда-нибудь подальше от Москвы, нигде не прописываться, переждать». Иван Игнатьевич с Валентиной Семеновной посмотрели в мою сторону, как я к этому отнесусь.

– Я буду там, где Сережа, и не двинусь с места, – сердито сказала я.

– Вот я и боюсь, что ты будешь там, где Сережа.

– И прекрасно! Мне и надо там быть!

Роковые слова! Через 10 дней после первой передачи я снова отправилась в Бутырскую тюрьму передать еще 10 рублей Сереже. Целый день среди наводнения слез, истерик, зловещих рассказов! Я старалась никого не слушать, чтобы не утратить состояния возбуждения и стремления действовать. Каково же было мое удавление, когда мне выбросили из окошка обратно 10 рублей и сказали: «Такой не значитя!»

Меня сразу оттеснили от окошка, и я, машинально двигаясь на улицу, бессмысленно повторяла про себя: «Такой не значитя, не значитя... не значитя».

Странно, я никогда не замечала, что люди, передвигающиеся на улице, так к тебе равнодушны. Мне хотелось кричать и биться головой о стены, чтобы все, все, все услышали: «Такой не значитя!»

Но нет. Они спешат, толкаются, переговариваются на улице, они даже смеются! А ты идешь среди них и несешь в себе ад, путаницу, неразбериху. Ты есть, и тебя уже нет среди тебе подобных! Ты как бы отмечен особой печатью, выделен среди толпы особым знаком отличия, ты отрешен!

Так приехала я на дачу, все повторяя: «Не значитя...». Мне вдруг стало все безразлично, исчезла буря в душе, стерлись все планы на будущее, никакого «будущего» нет и не могло быть.

Я еще делала что-то механически, по инерции, но хорошо понимала, что делать уже ничего не нужно, все сделается само собой.

28 сентября я с утра рисовала тушью орнамент для круглого шахматного столика. В 4 часа дня оставалось только закончить середину. В калитку сада вошел незнакомый мужчина. На террасе стоял Иван Игнатьевич.

– Здесь проживает Мария Николаевна Юнг? – спросил он.

Я вышла на террасу.

– Да, здесь, я и есть Юнг Мария Николаевна.

– Вы?! – спросил он таким тоном, как будто обнаружил самый нахальный подлог.

В самом деле, трудно было представить себе что-либо более несовместимое, чем я и политические преступники! Мне было 22 года, но меня часто не пропускали на вечерние сеансы в кино: «Девочка, читайте внимательно афиши: дети до 16 лет не допускаются!»

Этот гражданин переступал с ноги на ногу и еще раз с сомнением спросил:

– Нет, это точно вы и есть Юнг Мария Николаевна?

– Ну конечно я, почему вы так удивляетесь?

– Да я представлял себе вас совсем другой, – как мне показалось смущенно, сказал он.

– Ничего не поделаешь, придется вам расстаться с вашей фантазией, так, что же вам от меня нужно?

– Видите ли, вам надо поехать со мной на допрос по делу вашего мужа.

– Хорошо, я быстро оденусь, присядьте, пожалуйста.

Пока я одевалась, Иван Игнатьевич пробовал позондировать почву – он спросил, не надо ли взять с собой вещи, хотя бы самые необходимые?

– Нет, нет, что вы беспокоитесь, через 2-3 часа она вернется!

В его понятии 5 лет тюрьмы были всего-навсего 2-мя часами!

Многие легко пережили бы свои сроки, обладая такой заменой времени.



Мы шли через лес к станции. Был ясный, солнечный день. Мне казалось, до этой минуты я никогда не видела такого лучезарного неба, таких восхитительных, ярких листьев... В глубине души какой-то голос тревожно говорил мне: простись со всем этим, ты больше ничего этого не увидишь. В то же самое время мне совсем не было страшно, а даже весело, что вот я иду с сотрудником НКВД, смеюсь, шучу, и этот человек – самый обыкновенный человек – рассказывает мне о своей семье, сестренке, которая учится играть на скрипке и изводит всех соседей. Однако это была чисто внешняя сторона дела. Каждый из нас стремился как можно лучше исполнить свою роль.

Мы приехали на Лубянку, в зеленый особняк, когда-то принадлежавший, по-видимому, господам. Прошли в кабинет и сразу приступили к священному действию – допросу.

Надо было заполнить огромную анкету, под каждым ответом – роспись. Кто родители? А родители родителей? А что эти люди делали до 17 года? А после? А что делали вы сами? Ах, ходили пешком под стол? Ну что же, это вполне реально и не представляло никакой опасности для государства. А кто такой ваш муж? Инженер? Прекрасно, а зачем он занимался контрреволюционной деятельностью? Что это такое? А, вы не знаете? Ах, мы с вами совсем заболтались, давайте все записывать, так вот вопрос: «Что вы знаете о контрреволюционной деятельности своего мужа?»

Отвечаю: «Не только не знаю, но ручаюсь и знаю, что никакой контрреволюционной деятельностью мой муж не занимался».

Он ответы пишет сам и дает потом расписаться, вместо моего ответа пишет свой: «Ничего не знаю о контрреволюционной деятельности своего мужа».

– Нет. Неправильно, – говорю я ему, – здесь я расписываться не буду: ведь если я не знаю, значит, это может быть, а я знаю, что мой муж **НИКАКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ЗАНИМАЛСЯ!**

– Ну, не переписывать же из-за пустяка! Тем более, что ваш муж во всем сознался. Нечего дурака валять, расписывайтесь, и делу конец.

– Знаете что, товарищ следователь, вы меня спрашиваете, я отвечаю, другого положения быть не может. Если вам хочется отвечать самому, так вы и расписывайтесь сами! Я же буду расписываться только за свои точные ответы.

Со злостью разорвав целых 4 листа исписанной бумаги, следователь начал все сначала. Когда добрались до «контрреволюционной деятельности мужа» (он думал, что я теперь-то уж не буду читать), снова написал: «Ничего не знаю о контрреволюционной деятельности мужа».

– Ах ты господи! – воскликнула я, – вы же опять ошиблись, пишете, пожалуйста, под диктовку, а то мы с вами всю ночь будем анкету заполнять!

– Дура! – вскочил он со стула. – Дура, черт тебя возьми совсем, что ты мне голову морочишь ерундой! Некогда мне тут с тобой возиться!

– Во-первых, вы на меня не кричите, я вас нисколько не боюсь, а во-вторых, ругайте себя, а не меня. Вы же моего мужа не любите, и вам все равно, что бы там ни написать, а я его люблю и знаю как самого честного человека, следовательно, пишете точно мои ответы – и не надо будет 20 раз переписывать и ругаться, как извозчик...

– Идиотка, дура, чертова дура, я тебе покажу извозчика, ты у меня будешь знать где раки зимуют!

Перечень его довольно примитивных ругательств описывать не стоит. Анкета была разорвана и написана снова, в конце, где надо было писать о муже, он аккуратно вывел под мою диктовку следующее заключение, которое через 3 года фигурировало в моей дальнейшей жизни: «Всей моей жизнью клянусь и ручаюсь, что мой муж никакой контрреволюционной деятельностью не занимался».

– Вот теперь все верно, и я с удовольствием распишусь.

– Вот теперь все верно, и она распишется, идиотка! – передразнил меня следователь. – Сиди тут, я сейчас вернусь! – И он ушел, хлопнув дверью.

Я очень устала, и мне казалось, что прошло не 4-5 часов, как я уехала из дома, а долгие годы. Дом отодвинулся далеко-далеко и осталась только эта узкая неуютная комната, пахнувшая пыльной бумагой.

Через полчаса мой следователь вернулся, держа в руках небольшой листок бумаги. Он положил его передо мной на стол и ядовито сказал: «Добилась? Получай!» Это был ордер на арест. Он был совершенно свеженький, и чернила на нем еще не высохли...

У меня в природе заложена такая особенность – представлять действие, в котором я участвую, со стороны. Я представила себя, маленькую, худенькую девчонку со всем укладом мальчишки-сорванца, и грозное, по-видимому, могущественное государство, которое прячет под замок совершенно безобидное существо. И засмеялась.

– Какой же вы молодец! – говорю. – Ведь мне очень хочется знать, что переживает мой муж в тюрьме, иначе я никогда его не пойму, когда мы встретимся.

– Все, все будешь знать, не беспокойся. Это мы тебе обеспечим, а насчет встречи – это уж просто глупость, вряд ли это когда-нибудь произойдет. Пошли.

Мы вышли во двор, похожий на хороший сад. У крыльца стояла машина «черный ворон». Эти закрытые машины всегда внушали мне ужас. Когда-то, в детстве, мать сказала мне, что в них возят бандитов. Меня попросили подняться в машину.

– А там нет бандитов, я боюсь?!

– Мы бандитов не возим, мы возим врагов народа, – с гордостью сказал конвоир, усаживаясь на лавке у задней дверцы.

– Ну, тогда ладно, – сказала я ему, поднимаясь в машину. Черная дверца захлопнулась, предо мной оказалась решетка.

– До свиданья, – крикнула я своему следователю.

– Прощайте, – как мне показалось, с сожалением проговорил он. Ведь мы так подружились по дороге в тюрьму.

Я вцепилась в решетку и с жадностью смотрела на улицы, по которым мы ехали. Как все изменилось в один миг! Эти улицы, которые я знала с детства, отсюда казались совсем другими! Мне казалось, что люди, спешащие в разных направлениях, такие озабоченные и веселые, совсем не понимают, как ничтожны их заботы, как надо беречь мгновения, отпущенные им судьбой – ведь каждое из них может стать последним в любую минуту.

Прошло всего каких-нибудь пять часов, а жизнь круто повернула руль в сторону неизвестную и страшную. Как в невидимую пропасть уходило все привычное, легкое и простое. Идти по улице и размахивать руками – вот счастье! Я подумала, что живу в каком-то потустороннем мире. Вот я умерла, и меня мертвую везут по городу, это похороны. И как это всегда бывает, от горя, что умер человек, ничего не меняется вокруг – торгуют магазины, в палатке с пивом очередь, бежит трамвай, на подножке висят люди. Все на своих местах, все обычно, как всегда, а человеку, которого хоронят, уже ничего не нужно, он спокоен спокойствием мертвых!

Это был короткий путь, мы подъехали к воротам Бутырской тюрьмы, куда я так недавно носила передачу.

Ворота раздвинулись, огромные, черные, зловещие, как рок. Машина въехала во двор. Они снова задвинулись за нами.

... И ниоткуда не приходила  
помощь, и ниоткуда не пробивалось  
солнце – со всех сторон ее охватил  
беспросветный мрак, и она гибла в  
этом ужасном, пронизывающем  
холоде ...

Флобер

Меня бросили в каменный мешок. Там была только дверь и глухие стены, в потолке тускло горела лампочка. Бокс.

Душа оцепенела. Руки и ноги стали лишними, они мешали свободно развернуться. Здесь был каменный пол – квадратный метр. Я стояла, пока не затекли ноги, потом опустилась на пол. Казалось, я вся опутана липкой, влажной тряпкой. Сколько я пробыла там? Не знаю.

Это было, как при тяжелой болезни, лихорадочные сны пожирали мой мозг. То я видела себя ребенком с голубыми ленточками в косах, то в лесу, благоухающем и звенящем, то на пароходе с Сережей. Это свадебное путешествие по Черному морю, вода сверкает под лучами солнца, сколько света, сколько счастья! А затем темно, душно. Где я? Ах да, это тюрьма. Как близко от дома и как далеко! Шло время – и бред, и сон, и боль во всем теле... Можно было только сидеть или стоять...

Сколько прошло времени? Не знаю. Открылась дверь. Стрелок, похожий на выдернутую в лесу корягу, повел меня через какие-то коридоры и втолкнул в комнату. Грубая баба с хриплым, испитым голосом принялась меня обыскивать и обшаривать.

– Не трогайте меня! – закричала я на нее. Каждое ее прикосновение приводило меня в содрогание, как если бы с меня сдирали кожу!

Она ругалась, беззлобно хрипя и продолжая меня вертеть, как куклу. Наконец процедура была закончена. Она взяла мою сумочку и выбросила ее содержимое на стол. Там была карточка, где мы сняты с Сережей в Зыкове в лучшие дни нашей жизни.

– Отдайте мне фото, – попросила я.

– Не положено, – возвестила басом моя тюремщица.

Она записала все, что было в сумочке, и подтолкнула меня к двери.

– Пошли, не отставай.

Пришли в баню. Трое мужчин сидели на лавках и закусывали, рассказывая друг другу анекдоты. Они буквально покатывались со смеху!

– Вот привела еще одну, пусть моется, – проговорила моя тюремщица.

– Пущай, – добродушно сказал весельчак, не обращая на меня никакого внимания.

Баба ушла. Баня была огромной, в ней можно было вымыть 50 человек сразу.

– Как же я буду мыться, вы бы ушли, – смущенно проговорила я.

– Валяй, мойся, не смотри на нас, ты нам не мешаешь, – сверкая зубами, сказал парень.

«Надо привыкать ко всему невероятному, ведь изменить все равно ничего нельзя», – подумала я и, отойдя как можно дальше от парней, принялась мыться.

Это было очень кстати, прикосновение противной бабы жгло мне все тело. Когда я оделась, парни все еще хохотали, а мне сказали: «Жди, за тобой придут». Я легла на лавку, и тут же заснула, как убитая. Это был первый сон в тюрьме. Когда здоровяк мужчина растолкал меня, я никак не могла понять, где я и что со мной...

Мы пошли через двор в другой корпус. Поднимаясь по лестнице, мой провожатый все время стучал по железным перилам огромными ключами.

И совсем не в жизни я, а где-то  
На задворках жизни меж теней...

С. Есенин

Мы вошли в помещение, наподобие круглого зала, по стенам которого на меня глянули тяжелые, черные двери. За столом у входа сидел конвоир. Он принял бумагу от моего провожатого и, кивнув мне головой, дескать пошли, открыл ключом одну из дверей...

Когда я перешагнула через порог и вошла в комнату, почему-то в голове у меня пронеслась нелепая мысль: «Проститутки».

Камера была битком набита женщинами. Все они были в одном белье и с распущенными волосами. Они показались мне очень веселыми, и это

особенно меня поразило. Я с ужасом прижалась к двери спиной. Несколько женщин бросились ко мне и забросали вопросами, которые показались мне такими же нелепыми, как и сами женщины.

– Тебя за кого? За отца? За брата посадили?

– Сколько же тебе лет? Девочки, уже детей сажают, – кричали они наперебой.

– Так за кого же тебя посадили, что ты молчишь?

– За мужа ...

Взрыв смеха в ответ мои слова.

– Да сколько тебе лет-то? Какая такая ты жена, в каком классе учишься? – приставали они ко мне.

– Что вы ко мне пристали, говорю за мужа, значит за мужа, – сердито сказала я.

– Ведь и правда! Привязались к ребенку, лучше освободите-ка где-нибудь получше местечко такой хорошенькой девочке.

Это было не так-то просто. Когда ночью все улеглись спать, оказалось, что лежать можно только согнув колени, дальше начиналась голова другого человека. Поворачивались только по команде все сразу. Около двери стояла оцинкованная «параша». Она приходилась мне выше пояса, поэтому никакими ухищрениями мне не удавалось ее использовать, выводили в уборную 2 раза – утром и вечером. Все страшно мучились с желудком, т.к. почти ни у кого не совпадало его действие с режимом.

В камере было одно огромное окно с решеткой и заделанное снаружи деревянным щитом, так что видна была только полоска неба. Я часами стояла у этого окна. Ночное, бархатное небо сверкало звездами. Они подмигивали и говорили печально: «Эх вы, человеки!»

В моей душе не было ни злобы, ни отчаяния, ни какого-либо представления о будущем. Я жила в каком-то забытии, нереальной реальности, понять происходящее не мог никто, и тем менее я. Да я и не пыталась понимать. Я жила только мечтами. Вот я иду по лесной улице и

прихожу домой к матери и отцу, сплю в настоящей кровати, гуляю в лесу, обедаю из тарелки. Потом приходит Сережа, я бросаюсь к нему, как птица, и вот тогда обретается жизнь, возвращение к жизни, смысл жизни и ее начало, потому что все, что было до сих пор, было только скучным предисловием к большому роману... Где ты, мой добрый, где ты, мой светлый, сейчас, в эту минуту, когда я думаю о тебе?...

Так разговаривала я сама с собой, почти не замечая того, что было рядом со мной. Но и другие женщины не впадали в отчаяние, никто серьезно не мог предположить, что нас арестовали надолго, нас никто не допрашивал, не вызывал, не беспокоил. Поэтому атмосфера шуток, смеха и рассказов не прекращалась, каждый из нас ждал, когда его вызовут и отправят домой.

Среди нас была только одна женщина, которую по ночам вызывали на допросы. Когда-то она с мужем ездила в Харбин работать: она была переводчицей. Ее часто вызывали на допросы, и она возвращалась избитая, окровавленная и едва живая. У нее следователем была женщина. Видимо, она не могла простить необыкновенной красоты этой женщины и поэтому превращала ее лицо в сплошную кровавую маску. Можно себе представить, какова была эта не в меру старательная сподвижница Сталина!

«Бешено наматывался клубок непоправимости...»

Какие стройки, спутники в стране!

Но потеряли мы в пути неровном

И 20 миллионов на войне,

И миллионы на войне с народом.

Е. Евтушенко

Со мной в камере сидела Наталья Сац, тогда она была совсем молодая, талантливая актриса. Она читала нам по памяти сказки Пушкина: «Сказку о золотом петушке» и др. До тюрьмы она работала в детском театре, я иногда теперь вижу ее передачи по телевидению и сожалею о том, что она так располнела и постарела. Сидела там учительница лет 65-ти, необыкновенно



симпатичная женщина. Вообще же в этой камере было человек 150.

Вечерами нас выводили гулять на 15 минут, руки назад, головами не вертеть, ходить только по рисованной дорожке! Стояла долгая, сухая, теплая осень, был уже октябрь месяц. Мне тоже принесли передачу – эстафету приняла моя мать. На эти 30 рублей можно было купить через конвоира сахар, печенье и еще что-то. Я так мало обращала внимания на еду, что не могу вспомнить ничего, кроме гречневой размазни, которую ела, давясь и заставляя себя съесть все, что дают, во что бы то ни стало. Очень часто глубокой ночью мы просыпались в холодном поту от ужаса. Дикие, нечеловеческие крики неслись откуда-то и леденили кровь, казалось, что человека режут на куски. Говорили, там была башня, в которой пытали людей.

Так прошло 30 дней. 28 октября я проснулась утром и начала рассказывать свой сон: он был такой оригинальный, что я помню его, как будто он приснился мне сегодня. Вижу я себя маленькой девочкой с косичками: я прыгаю через веревочку в каких-то горах. Вдруг передо мной раскинулась огромная лужа, я остановилась, а добрый наш знакомый Иван Васильевич Остославский по другую сторону лужи стоит и манит меня к себе. Только я хотела перепрыгнуть через эту лужу, как из нее, поднимая голову, выползла змея и направила на меня свое жало. Я стала пятиться от нее, а она все ползла на меня, шевеля своим язычком в открытой пасти. «Девочки, я сегодня домой уйду – какой сон мне приснился! Это же мудрость великая мне приснилась! Как раз на праздники на мамины пироги!» «Да, да, – галдели женщины, – конечно, домой Маришку отпустят».

Поздно вечером открыли дверь, и сиплый голос крикнул: «Юнг, с вещами!»

– Я говорила, я говорила, – засмеялась я. Во мне все ликовало и пело, как же – через какие-нибудь полчаса я буду дома! Вещей у меня никаких не было, я только беспокоилась, что холодно мне будет бежать по пустым улицам Москвы ночью. Ну да ничего, бегаю я здорово, не замерзну!

В этих мыслях я и не заметила, как привел меня стрелок в большую светлую комнату. Там сидело много женщин, их вызывали по очереди в кабинет, откуда они выходили довольно быстро, но с удивленными, растерянными лицами. «Совсем обалдели от радости», – думала я.

– Юнг, проходите.

– Я вошла в просторный кабинет: за громадным столом сидело человек 5 военных, все здоровые, полные, грудь колесом и, конечно, с орденами.

Один из них спросил: фамилия? год рождения? место рождения?

– Юнг, 1914, Москва.

– Заслушайте приговор: Юнг М.Н., 1914 года рождения, приговаривается к 5 годам лишения свободы в трудовых исправительных лагерях, как член семьи изменника родины Красковского С.И. Распишитесь.

– Что же Вы за такого замечательного человека мне только 5 лет дали, надо было год за год.

– Распишитесь и поменьше болтайте, а то прибавим!

Я представила себе маленькую девчонку, стоящую перед этими здоровенными вершителями судеб человеческих, и сказала:

– Хорошо, распишусь, от этого вряд ли что изменится.

– Идите.

Я вышла и под села к тем, которые уже были в этом «храме».

– Вам тоже дали по 5 лет? – спросила я.

– Нет, по 8.

– Не разговаривать, – цыкнул на нас конвоир.

Когда человек 10 прошли сквозь черные своды беззакония, когда без суда и следствия, без предъявления какой-либо вины или хотя бы подозрения в преступлении, были зачитаны вопиющие сроки наказания, нас повели в другой корпус – пересылочную камеру. Впервые в жизни я увидела глаза женщин с выражением затравленного зверя. Жуткая холодная тоска этих невидящих глаз поразила меня. До этого момента я как-то не могла вникнуть во все происходящее. Я так недавно играла в Цезаря и Брута, что мне все

время казалось, что я продолжаю играть и все вокруг просто шутка. Но шутка затянулась, и было похоже, что нами играют всерьез и надолго. Никто не плакал. Весь этот спектакль до такой степени не вязался с нашим представлением о жизни, что мы строили версии вредительства, будто настоящие враги ловким ходом решили уничтожить лучшие ряды коммунистов, потому что именно жены и сестры коммунистов забили до отказа тюремные камеры. В камере было столько женщин, что, несмотря на глубокую ночь, больше половины, находящихся там, должны были уткнуться в стену на каменном полу и стараться уснуть. Так, прижавшись друг к другу, провели мы ночь первую и ночь страшную. Никакое волевое усилие, никакая самая ожесточенная смелость, никакой ум и никакое безумие ничего не могли изменить.

С этой ночи мы стали стадом, гонимым грозной плетью Лубянки. Кто там сидел? Кто вершил суд? Кто хотя бы видел тех, кого он согнал в эти каменные мешки? На это нет никакого ответа до сих пор. За это никто не понес наказания.

Наступило утро. Весь день мы провели на ногах, слоняясь из угла в угол, от стены до стены. Эти фигуры-маятники не разговаривали, их задавил страх, ползучий и мокрый, как липкий пот болезни. За спиной каждой жены и матери где-то совсем близко остались дети, у некоторых дети были годовалые или даже грудные. Они остались в своих уютных кроватках, не зная, что их ласковую мать им заменит детский дом, что отныне они будут идти по жизни с клеймом: родители – враги народа! Это определение было расплывчато, как во времена святой инквизиции «ведьма». Её сжигали на костре – нас заперли на замок (не хватило бы дров в России, чтобы сжечь хотя бы одних только жен). Но ни тогда, ни теперь никто не мог бы ясно представить себе, что такое «враг народа». Как дальше показала история, достаточно было рассказать глупейший анекдот или сказать без придыхания «Сталин» – и человек был уничтожен. Ах, как Ленин боялся этого! Страна дошла до того, что нельзя было доверять собственному брату, отцу, другу.

Этот последний день в Бутырской тюрьме тянулся серым, нескончаемым потоком пасмурных мелочей. В 2 часа ночи нас стали вызывать по несколько человек с вещами. Впрочем, вещей ни у кого не было, всех забирали обманом на допрос, а арест производился на месте – так было спокойнее – ни криков, ни протестов, ни заступников: человека уводили добровольно. Он пропадал на несколько лет, как сквозь землю проваливался. И ни в какие двери нельзя было достучаться. Если же слишком активные друзья стучались настойчивей, чем это было дозволено, их ждала та же участь. Люди притихли и стали говорить шепотом.

Вот открылась дверь, и моя фамилия зазвучала снова: «С вещами». Нас вывели человек десять во двор. Там стояла распроклятая машина – «черный ворон». «С-а-а-дись!»

Мы поднялись на ступеньку и шагнули во тьму, я была последней и потому стояла у решетки сзади. Снова раздвинулись огромные ворота, и мы выехали на Лесную улицу (это было 3 часа ночи). Город спал. Тишина ночных улиц была какой-то жутко незнакомой, хотя мы ехали с детства известными мне местами. Дикий, раздирающий крик оборвал эту тишину. Одна из женщин начала кричать и биться о стены машины. Как могли, мы старались успокоить ее. Она затихла, и только шум мотора ровно и непреклонно тащил нас в неизвестность.

Наконец мы подъехали к Казанскому вокзалу, но не со стороны площади, а где-то позади всех вокзалов, на площадку около товарных путей. Нас выгрузили и окружили стрелками и собаками. Выкликая по одному человеку, провожали. Вот и до меня дошла очередь. Позади стрелок с винтовкой наперевес: «Иди вперед, к воротам». Когда я очутилась у этих ворот, я увидела театральное представление, и у меня захватило дух. От ворот вниз спускалась широкая, пологая лестница. Через каждые 2-3 ступеньки стоял часовой, устремив штык винтовки внутрь лестницы. Они стояли с обеих сторон лестницы так, что человек, идущий по ней, как бы

протыкался насквозь. Внизу стояли военные, тоже здоровенные дяди, какие были при зачитывании приговоров.

Они держали в руках папки с «делами». Я медленно спускалась вниз.

– Фамилия?

– Юнг М.Н.

– Год рождения?

– 1914.

– В вагон!

Стрелок подтолкнул меня в спину и повел по путям. Мы шли в темноте к составу товарных вагонов. Я все время спотыкалась о шпалы, а сзади меня «направлял» стрелок, со злобой шипя: «Ну, что рот разинула, двигай дальше. Стой, стой тебе говорят, мать твою туды!» Остановились у дверей вагона, из которого несло, как из хлева.

Видимо, когда-то в нем перевозили коров и свиней. Стрелок отодвинул дверь. Я никак не могла нащупать подножку, чтобы влезть в вагон. Он схватил меня и бросил в темноту вагона, как котенка. Впрочем, все это так было похоже на сон, что никаких ощущений боли или возмущения не было и в помине, казалось, что ты без тела и души, просто в больной горячке и, как бывает во сне, не можешь проснуться, задыхаясь в кошмаре.

В вагоне уже были люди, они помогли мне встать. Тьма была кромешная, но они уже привыкли к темноте и ориентировались лучше тех, кто вновь прибывал.

Рассвет наступил наконец, и мы начали устраивать нашу новую жизнь. Кое-как из брошенных на полу досок соорудили 2-этапные нары с обеих сторон вагона. Нас было, кажется, 50 человек, я, к счастью, попала на верхние нары к решетке вагона. В середине вагона стояла чугунка, круглая печка, и кучка дров. Почему мы тогда не подожгли вагон и не сгорели? Почему так безразлично переносили все чудовищные издевательства? Потому, что по своей наивности воображали, что Сталин ничего не знает, что

он спасет нас, как только мы будем иметь возможность ему написать. Святая наивность!

Так как ход времени давно был потерян, мы не знали, сколько прошло дней и ночей с той минуты, когда нас вызвали из камеры на «прослушивание приговора». Мы стояли на путях, по-видимому, целую неделю, так как в один прекрасный день услышали звуки праздника 7 ноября. Где-то далеко звучали трубы духового оркестра, пели песни демонстранты. Это было ужасно— мы думали о наших родных. Если бы они знали, как мы близко от них и как безнадежно далеко! «Нет, нет, я не вынесу этого, – думала я. – 5 лет! Я даже не могу себе это представить, разве я могу жить 5 лет под замком, у меня нет ничего кроме платья, которое скоро износится, сейчас мне 23. Нет, мне никогда уже не будет 28 лет. А что с моим Сережей? Что с ним? 10 лет, разве это мыслимо? А последнее время у него было что-то плохо с сердцем. Лучше бы нас похоронили в одной могиле, как Аиду с Родомесом. «Все-таки вместе!»

8-го или 9-го ноября поезд двинулся с места. Нам давали грамм 500 хлеба и небольшую кружечку кипятка. В окошко я видела сопровождавших нас стрелков. Все они были одеты в светлые полушубки, меховые шапки и бурки. Ехали больше ночами, а днем стояли на путях, далеко от станций.

Мы выбрали старосту – наиболее активную и энергичную женщину – Рашель Раскину. Она с мужем не раз сидела при царе, завоеывая счастье народное, была с 1905 года партийным работником, а ее муж наркомом. Эту личность нельзя забыть. Интеллигентный, образованный человек, пианистка и поэт. Она распределяла обязанности по дежурству. Надо было следить за печкой, получить и раздать хлеб, надо было ухаживать за больными – их было трое. Особенно тяжело больна была М. Гутман, у нее была температура 38 или 40 градусов, она вся горела.

Скоро мы все были покрыты вшами, и их уничтожать тоже было одной из обязанностей.

Замечательное было у Рашели лицо – это было лицо льва: огромная черная грива волос, квадратный подбородок, продолговатые черные блестящие глаза, всегда чуть прищуренные и смеющиеся, сильные, почти мужские руки, которые все очень ловко делали и выразительный голос с оттенком, не допускающим возражений, если она приказывала.

Через неделю после нашего путешествия на одной из станций к нам бросили 8 человек уголовниц.

Атаманом их была Талка, с выдающейся челюстью, натренированной в матерщине. Сделана вся она была природой мимоходом и, видимо, грубым топором – раз-два-три, руки, ноги, голова – готово! Воткнув руки в боки, она встала посредине вагона и завернула длинную, замысловатую фразу с такой артистической матерщиной, о которой мы не имели никакого представления. Заканчивалось это выступление словами: «Скидывайтесь с нар!» Мы замерли и буквально вросли в свои места. Голова Рашель, как из пещеры, высунулась из-под верхних нар. Она вылезла на середину вагона, оглядела всех нас, прилипших на настилах, и направила свой чуть прищуренный взор на Талку. Талка только что закончила очередной заряд высокоэтажного мата.

Рашель сделала к ней шаг навстречу и, тоже, как она, подбоченясь, но тихо, с расстановкой и совсем явственно и выразительно ответила ей на понятном для нее одной языке (классическим матом). Мы обмерли. Наша Рашель, поэтическое создание, нота Бетховена, песня Леля - вот так номер! Сейчас эти урки покажут нам где раки зимуют.

Однако Талка, сбитая с толку такой контрречью, хотя и выдала еще заряд мата, но убедительно он уже не звучал.

– Ну вот что, шкура, – сказала Рашель, – я здесь староста, ты староста своей сволочи – давай устроим поединок: кто кого поставит на колени, тот и будет старостой в этом вагоне, а старосту все должны слушаться.

Всю эту фразу она артистически пересыпала блатными словами, как будто этот язык она знала с детства.

– Давай руки, пальцы в пальцы, старайся поставить меня на колени, а я – тебя. Кто выдержит, тот и староста.

Встали в позицию, Рашель раз– и согнула пальцы Талки. Ведь Талка никогда в жизни ничего не делала, кроме воровства, а у Рашели были пальцы пианистки. Повторили номер еще два раза с тем же результатом, Рашель нас спасла. Она распорядилась освободить места для семи человек, а для сифилитички с проваленным носом сделали отдельный топчан внизу из досок.

Наш поезд уходил все дальше и дальше от Москвы, от привольной жизни, от таких простых и ясных понятий, как мать, отец, муж, семья.

Семьей становился тот круг людей, в котором ты жил, домом – тот кусочек земли, по которому тебя тащила неведомая сила, когда сознание дремало, и свободным было только одно воображение. Оно работало не на будущее, а на прошлое.

Впрочем, мечтательность тут мне очень пригодилась. Любовь к Сереже приобрела особую значимость, она стала той яркой и весьма реальной силой, на которую опиралась вся моя новая жизнь. Как только страх вползал мне в сердце, я вырывала у памяти блаженные считанные минуты нашей жизни. Сережа так явственно был со мной, что страх уползал, а решимость твердо и смело отстаивать себя у жизни, вытаскивать себя из любой подлости закаляла волю, и я чувствовала себя по-настоящему взрослой.

Однажды наш поезд остановился на станции. Я смотрела на хлопотливых людей, удивлялась их спокойствию и деловитости и тому, что жизнь продолжается, а колоссальный состав товарных вагонов, забитый до отказа человеческими мыслями, чувствами, был вне этой жизни.

В это время подошел пассажирский поезд, и в мое окошко глянул международный вагон – чистенький и веселый. Большое окно смотрело прямо на мою решётку. Я увидела, как военный, седой человек, вышел из купе и остановился у окна напротив. Он, не отрываясь, смотрел на меня, я – на него. Потом я улыбнулась ему, а он схватил свою голову обеими ладонями



и с гримасой боли вошел обратно в купе. Там он сел на лавку в позе совершенно убитого горем человека, сжав руками голову. Так и остался он в моей памяти навсегда. Вероятно, кто-нибудь из его близких тоже ехал в противоположную сторону его состава.

Так ехали мы по нескончаемым просторам России и пели песни: «Широка страна моя родная. Много в ней та-та, та-та та-та». Нам стучали: «Замолчать!»

Рашель читала стихи Есенина, Блока, Маяковского. Она читала великолепно, и в дальнейшем я уже никогда не слышала Маяковского в таком ярком и замечательном исполнении. На воле у нее остались две дочери. Она тосковала о них, но никогда не позволяла себе унизиться до утешения. Она утешала других— ведь среди нас были очень слабые женщины, которые все время стонали и плакали.

М.Гутман было все хуже и хуже, она горела как в огне, и одежда на ней была живая от вшей. Она лежала рядом со мной, и я все время на остановках переговаривалась с передним вагоном: «У вас Гутман есть? А такой-то? А Красковский?» В один из таких переговоров мне ответили: «Гутман здесь, в нашем вагоне». Мы все заорали: «Ура!» Наш вагон закипел. Стрелок стучал и кричал на нас, но мы не могли успокоиться.

Поезд двинулся, и уже нельзя было переговариваться. Вскоре поезд остановился в чистом поле. Дверь нашего вагона открылась: «Выходи!»

Мы выскочили и удивились, что уже зима: в вагоне было так жарко от печки и тесноты. Нас окружили собаками и стрелками: «Садись! Садись!»

В это время из другого вагона выпрыгивали мужчины. Боже мой, на кого они были похожи! Страх господень! Черные, всклокоченные, обросшие...

Вдруг Мария Гутман бросилась навстречу своему мужу, он к ней! Огромная собака, яростно лая, придавила плечи ее мужа, ее оттянули от него. Крик и лай стояли невообразимые, стрелки, ошалев, орали на нас истошными

голосами: «Бегом, бегом, мать вашу так!» Нас поменяли вагонами, чтобы мы больше не переговаривались с мужчинами.

Здесь, на земле, нет ничего совершеннее несчастья... [Цитата из Бальзака: Здесь, на земле, нет ничего совершенного, кроме несчастья.]

Так ехали мы в суровую зиму 1937 года в Сибирь, где, как известно, должен был побывать всякий уважающий себя человек. Прошел весь ноябрь; в первых числах декабря мы остановились на путях города Томска.

Было раннее утро. Сиреневая дымка мороза совсем скрыла от нас город. Дверь отодвинулась: «Выходи!» Мы выскочили из вагона, и дух у нас захватило! Мороз стоял непривычный, хватающий как ожог. Дыхание заходило.

Подъехала машина, из нее вышел военный в меховой шубе, бурках и теплой шапке (Владимиров).

– Это что такое? – заревел он, оглядывая нас с головы до ног. – 55 градусов, а вы женщин голых привезли! Сами оделись, знали, куда едете? Что я с ними делать буду? Кто такие?

– 58 статья, товарищ начальник, враги народа, – приложив руку к козырьку, отвечал конвоир.

– Враги народа, – презрительно передразнил начальник, – боевые куры, туда же! А ну, марш в тюрьму, бегом!

Но бежать мы не могли: целый месяц лежали на нарах. Мы прижались друг к другу, чтобы не превратиться в сосульки, и так еле двигались через весь город. А город еще спал. Когда показались стены томской тюрьмы, многие из нас начали падать, ноги окостенели от холода, мы были в тонких чулках и летних туфельках. У ворот мы стояли, как нам показалось, вечность. Проверяли папки с делами и не впускали.

Женщины разложили меня на коленях и, сняв чулки, растерли снегом белые ноги – я их не чувствовала совсем. Наконец нас впустили и отвели в камеру. Я устроилась у решетки окна на верхних нарах. Меня поразила Сибирь своим звонким морозом. Небо сияло такой чистотой и синевой, что

больно было глазам, а на фоне этой синевы точно замороженные, покрытые розовым инеем, стояли, не шелохнувшись, тонкие березы.

Все женщины улеглись на голых досках, и нам казалось, что мы еще едем и еще движется наш поезд. У дверей стояла деревянная параша со зловонным запахом столетней давности. Принесли здоровенный бак с кипятком и по 300 граммов хлеба.

– Девочки, – завопила я, – давайте вшей морозить! А? Потом кипятком? А?

Я стащила с себя красную шерстяную кофточку, которая приютила в себе не менее тысячи этих животных. Высунула ее за решетку.

– Девочки, тише, не шумите, слушайте, как будут лопаться эти гады. Но рука не могла долго выдержать мороза, пришлось втащить обратно свою одежду. Из кружки я начала поливать на нее кипяток над парашей.

– Пейте, пейте, дорогие, вволюшку.

Все смеялись, но моему примеру никто не последовал.

В середине дня принесли еще бак с так называемой баландой.

Понюхав и попробовав, дежурная постучала в дверь, стрелок пробурчал: «Ну, что еще?»

– Мы помои есть не будем, можете их забрать.

Дверь захлопнулась, через 15 минут пришел начальник, толстый, красный, веселый человек. Взял ковш, зацепил и, выливая обратно, сказал:

– Да, вода. Но крахмальная. – И ушел.

На другой день к нам пришел Владимиров, тот самый, который встречал наш поезд и ругал московские органы на чем свет стоит.

– Ну, что, почему лежите? Лежать днем не полагается, надо так или иначе двигаться. Какие будут жалобы, пожелания?

Все лежат и молчат.

–Что же так и будем молчать? Значит, всем довольны, все хорошо и прекрасно? Так я должен вас понимать?

– Не так, гражданин начальник, – заговорила Рашель. – Мы не свиньи. Мы не можем есть помои, нам мало хлеба, мы раздеты, мы хотим написать нашим родным – они вышлют нам теплые вещи.

– Ну вот, это другой разговор. Все ясно, а то молчат, здрасьте пожалуйста! Так вот слушайте, что я вам скажу: во-первых, вы должны держаться молодцом, во-вторых, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам было по возможности хорошо. Вот переписки вы пока лишены... до особого распоряжения из Москвы. Это уже не в моих силах изменить. Потерпите неделю, я переведу вас на особое положение в этой тюрьме, и общий режим вас не коснется, он довольно-таки жесткий. А там, глядишь, и переписку разрешат.

– Спасибо, гражданин начальник, потерпим, будем ждать.

Прошло две недели. Мы таяли на глазах, никто уже не мог подняться: голодуха нас подкосила. Наконец пришел к нам Владимиров, это был единственный наш начальник, который понимал, что мы люди, и, кажется, не верил в этих «врагов народа».

- Ну, вот и я, здравствуйте, а вы так все и лежите? Ничего, теперь не будете лежать, я переведу вас на полное самообслуживание, будете жить отдельно от всех заключенных этой тюрьмы, у вас будет четыре барака и большой двор, по которому вы сможете гулять сколько угодно. Кухня, и больница, и ясли для детей – все будет в ваших собственных руках. Мы только будем привозить продукты, а обрабатывать, готовить будете сами: убирать бараки, свои нары, убирать двор, колоть дрова, топить печи – все сами. Вы довольны?

– Спасибо, гражданин начальник, – промычали мы в ответ. Мы уже не кричали «ура!»

Так перевели нас на этот кусок земли, где мы были более или менее свободны, и прожили мы там два года без переписки, посылок и без каких бы то ни было известий от своих близких. Это называлось «строгой изоляцией».

Изоляция была действительно строгая. Мы были запечатаны, как в конверт, на котором никак не могли написать адрес. Ни газет, ни радио, ни единого звука извне, с воли. Волей было только небо. Каждому из нас в бараке на 500 человек досталось по 30 см досок. Горе было полным женщинам. Зарубка 30 см, и делу конец! Как хочешь, так и укладывайся. Зато мне было хорошо – я и 30 см не занимала, поэтому многие стремились лечь поближе ко мне.

По утрам вместо молитвы и приношения Господу благодарности женщины ругались из-за своих несчастных сантиметров. Что же, в этом была своя мудрость – они отвлекались от своего горя. Настоящее же горе-бедствие испытывали матери с грудными детьми и детьми до 3-х лет. Дети все время кричали – ведь у матерей не хватало молока; им выписывали какое-то питание, но этого, конечно, не хватало. В комнате, где они жили, был настоящий ад.

Самым хорошим из всей этой кутерьмы был наш двор, который мы называли Бродвей. Поток женщин от побудки до вечерней проверки в 9 часов не прерывался. Ходили парами, рассказывая о своей жизни в прошлом или о прочитанных книгах. И то и другое было на фоне настоящего романтично и прекрасно. Даже прошлые бедствия приобретали окраску великого, неоценимого счастья.

Т.к. я была спортивна, то решила идти на кухню колоть дрова. Я умела это делать с детства. Отец учил меня разбираться в волокнах дерева, чтобы легко кололись любые поленья. Нам привозили кедр чуть ли не метр в диаметре. Промерзший, он при колке звенел, как стекло. Я с таким остервенением (после двух с половиной месяцев лежания) накидывалась на этот кедр, что собирала вокруг себя толпу. «Девочки, Маришка дрова колет, бежим смотреть!»

Да и было на что! Я брала 2 топора и надкалывала по радиусу на 48 частей, а затем при последнем ударе в центр кедр рассыпался на мелкие части. «Артистка!» – восхищенно кричали зрители, а мне казалось, что я

выступаю на сцене Большого театра в спектакле «Лес рубят – щепки летят!» Тогда любили из этой пословицы делать «занавес» на творчество Лубянки! Теперь очень часто твердят о безобразиях Берии. Однако хочу напомнить, что в 1937 году там сидел наш ванька-встанька, Ежов. Я слышала от кого-то, что он не вынес возложенных на него обязанностей и сошел с ума, что умер он в сумасшедшем доме, бросившись на металлические пики ограды. Это из «слухов».

Ежедневно мне надо было расколоть один кубометр дров. После этого страшно хотелось есть. Это было всегда: ночью и днем – есть, есть, есть.

Пока Владимиров был нашим начальником, питания было достаточно. Какие-то полусупы, полукаши. Невозможно определить, из чего состояли эти баланды, но можно было просить «добавки».

Я всех поражала своей прожорливостью. Барак тянулся на 100 метров, и по ходу нар мое железное ведерко направлялось к главному баку – это была симфония. Близко от меня звучала фраза: «Маришке добавку», и, передавая дальше ведерко, все произносили эту фразу. По мере удаления она затихала до шепота, а затем возвращалась ко мне все громче и громче: «Маришке добавку, Маришке добавку». – «На, жри! И как ты можешь такую пакость по второму заходу есть?» – «Могу и по третьему, да уж не хочется вас беспокоить».

Однажды был курьез: со мной рядом лежала женщина, по фамилии Горохова. А Рашель жила под нами, на нижних нарах. Горохова дежурила по камере, и во время обеда ее не было на нарах. Ее ведерко с супом поставили в ногах на краю нар, кто-то нечаянно двинул его, и оно полетело прямо на голову Рашели. Ее великолепная грива приняла на себя все содержимое. Я свесилась с нар и говорю:

– Это суп Гороховой!

– Какой к черту гороховый, полна голова рыбных костей, – набросилась на меня Рашель, вытаскивая из волос тонкие косточки неизвестной рыбы.

Однажды во время моего дежурства одна из женщин отказалась есть; она часто объявляла голодовку, и мы ей оставляли еду на столе. Пройдет час, другой, она берет ее и всю съедает. Так было и в этот раз. Я ей даю кашу, а она повернулась ко мне спиной и улеглась на нарах спать. Я поставила ее чашку на общий стол, забралась на нары и уснула как убитая. Просыпаюсь от страшного вопля: «Моя каша, куда моя каша делась?» – «Это Мадонна сожрала». Оказалось, что кто-то съел ее кашу, а так как самой прожорливой была в камере я, то она решила, что я ее съела.

Все хохотали, как сумасшедшие над великолепным сочетанием – «Мадонна» и «сожрала»!

– Да это не я, – сконфуженно твердила я, но никто мне не верил.

– Ну и черт с вами, – сказала я, разозлясь, и пошла колоть дрова.

Надо сказать, что с детства ко мне прилипали «святые» прозвища. В школе 1-й ступени дети прозвали меня Иисус Христосик, позже, когда хотели обругать, ругали так: «Подумаешь, какая Мария Магдалина», – хотя по совести никто не знал ее биографии. Художники, которые бывали у нас в гостях, говорили отцу:

– У твоей Марии голова пресвятой богородицы Марии – на что отец отвечал:

– Да, она очень похожа на скверно написанную икону.

– Что же тут удивительного, – сердилась я, – ведь ты иконописец, и в твоей власти было сделать икону хорошо написанную, а не плохо.

В марте, а точнее 23 марта 1938 года, я была «убита». Утром вышла во двор колоть дрова. Солнце так и переливалось на снегу, тени от сорок были ярко-синие, воздух морозный, но уже с особым запахом весны. На площадке уже работали Маруся Тухачевская и Светлана. Я взяла свои колуны и принялась за дело. Попался трудный кедр. Никак он не поддавался. Зрителей было немного, но они принимали, как всегда, деятельное участие в моей работе:

– Маришок, ты с этой стороны попробуй.

– Лапушка, брось ты его к чертям собачьим, возьми другое полено.

– Отвяжитесь от меня. Эй, Светлана, возьми кувалду, стукни разок по этому проклятому топору – влез туда, а обратно никак!

Светлана, вдвое выше меня ростом, взяла увесистую кувалду. Я держу топорище и, нагнувшись, жду... Расчет оказался весьма приблизительным. Светлана стукнула мне по голове! Я не знаю, что было дальше, но по рассказам очевидцев, я выпрямилась и стала раскачиваться, как маятник. Очень, говорят, эффектная была картина! Тоненькая фигурка в черном на фоне белого снега и Светлана, в ужасе застывшая перед нечаянно убитой! Через несколько секунд я упала на руки подоспевшим женщинам. Очнулась я на столе в больнице, где все врачи были наши женщины. Побежали в другой барак за Хайей Яковлевной, хирургом из Ленинграда. Я поднесла к глазам руки (они у меня онемели) и увидела черные ногти. Ноги холодели. Этот холод полз все выше и выше. Я поняла, что умираю.

– Господи, так далеко от дома, где я была маленькой, где я прыгала через веревочку, где так много в саду цветов, мама, мама – так несвязно неслись мои мысли.

Сестры в белых халатах стояли и смотрели в пол. Наконец прибежала Х.Я. Я еле внятно спрашиваю:

– Х.Я., я буду жить?

– Сейчас посмотрим, посмотрим и скажем, главное, ты не волнуйся.

Куда тебя ударили?

– В висок.

– Дайте ножницы, надо выстричь волосы, вот так, вот так, – приговаривала она. – А теперь быстро иголку, нитку, бинт.

Все сразу зашевелились. Наложили швы и сделали из моей головы «сахарную» голову, только лицо оставили открытым.

– Теперь в больницу – и попробуй не умирать, а вообще-то, до мгновенной смерти не хватило только двух мм. Осторожно! На носилки, постарайтесь ее уложить без тряски.



А в это время бедная Светлана стояла у стены, сложив руки крестом, и непрерывно говорила:

– Я убила Маришку, я убила Маришку...

Когда меня понесли, я попросила, чтобы не в больницу, а в камеру. В дверях я увидела всех своих товарищей в слезах: одни свешивались с нар, другие хлопотали около моего места. Тут появилась подушка, одеяло, даже сахар. Хайя Яковлевна сказала:

– Все убрать. Никаких подушек, месяц лежать на спине не двигаясь. Будете кормить по очереди! Теперь все зависит от ухода.

Рашель не отходила от меня ни на минуту и рассказывала разные случаи из жизни: у кого-то были поездом оторваны ноги, кто-то сломал себе шею, прыгая с парашютом. А однажды одного ее знакомого ударила по голове сосулька – ничего, остался жив... Кровавые истории текли как из рога изобилия, мне стало дурно. Ломова-Оппокова Наташа прогнала от меня Рашель.

– Совсем ничего не соображаешь, – говорила она, – девчонку чуть не убили, а ты решила ее доканать!

Светлана, бледная и дрожащая, стояла рядом и что-то бормотала точно помешанная.

– Да успокойся ты, – говорю я ей, – мало ли что бывает, вот у Рашели и вовсе...

В это время приходит комендант и начинает допрос: кто ударил, почему, какие взаимоотношения, и т.д.

– Да что вы, что вы, мы с ней друзья, просто нечаянно, мало ли что бывает, – говорю я. С большим разочарованием на лице комендант наконец ушел.

Так целый месяц кормили меня с ложечки и развлекали как могли мои друзья.

Вскоре перевели меня в другой барак, где камера была небольшая, на 100 человек, и где я впервые встретила и подружилась с Кондиайн Норой.

По ночам я кашляла, и она заставила меня пойти к нашим ленинградским врачам. Они меня прослушали, простукали и сказали, что у меня начался туберкулез.

Нора крепко за меня взялась:

– Хочешь жить?

– Еще бы не хотеть, что ли ты не хочешь?

– Ну, так вот, голубушка, будем вставать на час раньше пробудки и делать гимнастику древних йогов.

Началась самая серьезная работа: сначала надо было освоить дыхание, потом асаны. Потом все вместе. По вечерам Нора давала мне уроки астрономии, и скоро я стала «ходить по небу», как по земле, затем мы стали тренировать память и из разных глав собрали целого «Евгения Онегина», выучили его наизусть. Потом то же сделали с «Полтавой», «Медным всадником» и т.д.

Наша Нора, при всей своей детской наивности, оказалась одной из самых предусмотрительных женщин. Она взяла с собой целый мешок вещей: великолепный тулупчик, валенки, бумагу, нитки и все, что нужно человеку в далеком путешествии. Ее муж – ученый, астроном, математик и физик, был арестован в Ленинграде и, как все, пропал без вести.

Нам с Норой совершенно не хватало времени. Мы рисовали для наших женщин узоры для вышивания, делали пальцы, натягивали изрезанные рубашки, вытягивали цветные нитки из всего, из чего только было можно, и Нора всех учила вышивать. На ее зеленом одеяле мы вышили шахматную доску и из березы и дуба сделали крошечные шахматы. Некоторые из нас отлично играли, особенно Галя Лерхе, балерина Большого театра. Рядом с нами на нарах были сестры Тухачевские – Маруся и Леля. Маруся была чуть старше меня; если мне было 24, то ей было 30 лет. Леле было лет 30. В другой камере была Нюся Бухарина, ей было 25 лет. Красавица она была необычайная, у нее было правильное греческое лицо с большими синими глазами. Она все время говорила, что ее муж ни в чем не виноват, что весь

Бухаринский процесс – это страшная профанация, что он необыкновенный, прекрасный человек и т.д. В конце концов нашлись среди нас стукачи, которые донесли о ее разговорах. Пришли за ней и повели по «Бродвею», к воротам. Как всегда на «Бродвее» было полным полно людей, ходили по кругу парами. У ворот Нюся остановилась и закричала:

– Товарищи! Не верьте, что мой муж враг народа, никогда не верьте, он...

Тут ее вытолкнули и захлопнули ворота. В дальнейшем мы слышали, что ей дали 10 лет, самостоятельную статью и услали в Магадан.

Рядом с нами была Ломова-Оппокова Наташа. Маленькая, седая женщина, очень болезненная и раздражительная. По ее рассказам, ее муж был дружен с Лениным и был одним из самых идейных коммунистов времен революции. В ней чувствовалась высокая культура, и она нас учила очень многому. Кроме того, она была очень умна и начитанна. В один не прекрасный день ее увели, и больше я не знала о ней ничего примерно до 1961 года, когда она умерла в Москве. Сидела с нами Шапошникова, бывший директор фабрики-кухни на Выборгской стороне в Ленинграде. Она была подпольщицей до революции, в нашей тюрьме она заведовала кухней. Женщины к ней вечно лезли с просьбами написать заявление о пересмотре дела мужа, и она никому в этом не отказывала. За эти заявления ее посадили в карцер, где она объявила голодовку. 8 дней она голодала, а затем ее отнесли на носилках в больницу и начали спасать. Так как спасали «свои», то ей не дали умереть. Была среди нас бабушка Акимовна из Рязани. Говорила она, здорово окая. Мы вечно над ней смеялись:

– Ну, расскажи, бабуся, за что тебя посадили?

– Да за подполье, касатка, все за это подполье.

– А как, ну расскажи, что следователь-то у тебя спрашивал?

– Что, говорит, твой сын подпольной работой занимался?

– Конечно же, говорю, батюшка, занимался. А как же? Мы без подполья не можем, опять же осень, картошка, то-сё.

– Ну, говорит, распишись. – А я не умею писать-то.

– погоди, говорит, ставь крест.

– Ну я и поставила. Я ведь не знаю, что да как, ему видней – он грамотный.

Бабуся эта вскоре умерла, не смогла свои 5 лет отсидеть.

Когда Владимирова сняли за «чуткое отношение к врагам народа»? к нам явился новый начальник? по фамилии Кий. Сволоч это была страшная. Он приходил к нам ночью пьяный, вставал сапожищами на стол и начинал, переключая папиросу из одного угла рта в другой, разглядывать спящих полуголых женщин. Однажды Рашель прищурилась и, глядя на него своими сверкающими глазами-углями, сказала:

– Если вы, гражданин начальник, еще раз сюда заглянете, будете спать тоже на нарах, только не с нами!

Кий выругался мерзко и ушел. Больше он не показывался, но весь наш лагерь согнул в три погибели голодом. Началась цинга. Кий довел наш лагерь до полного истощения. Изолятор был переполнен, и цинготных некуда было положить – они оставались в бараках. Выпадали зубы, распухали ноги, люди покрывались синими пятнами. Так как среди наших «жен» было порядочно стукачей и голодать им не хотелось, они, по-видимому, имели возможность дать знать в Москву о положении дела. Когда эта комиссия примерно из 10 человек входила в ворота нашего двора, они увидели целую процессию с носилками.

– Что это такое? - спрашивают.

– Цинга, гражданин начальник.

Направились сначала в больницу, там лежали женщины, которые уже не могли ходить. А вечерами мы слепли: началась у нас почти у всех куриная слепота. Как только солнце заходило, черные пятна закрывали зрение, мы ничего не видели. Молниеносно был выписан рыбий жир, построили во дворе будки, подвезли целые возы хвои, ее в кадках обдали кипятком, и было приказано всем пить по кружке в день, за ослушание – карцер.

Кий был снят с работы, и после него уже не было голода— вволю давали хлеб и баланду. Я продолжала усиленно заниматься йоговской гимнастикой. Поправлялась не по дням, а по часам. Через 6 месяцев пошла снова к врачам проверить легкие. Все в порядке, никакого туберкулеза нет и в помине.

Однажды решила я во что бы то ни стало выпросить фотокарточку Сережи, которую у меня отобрали при обыске. Было жаркое сибирское лето, в сарафане и босиком я пробралась в приемную к начальнику, постучалась.

– Войдите.

Вхожу. Передо мной сидит за столом довольно симпатичный мужчина, обложенный вокруг бумагами.

– Что угодно? – спрашивает.

– Гр. начальник, пожа-а-а-луйста, отдайте мне фотокарточку моего мужа, она у меня в сумочке была.

– Он же враг народа, зачем вам его карточка? – оглядел он меня с ног до головы.

– Это для вас он враг, а для меня самый что ни на есть лучший в мире человек.

– Вот как! Что же поищем, посмотрим, что за лучший человек. Как фамилия? Полез он в какой-то ящик и начал разбирать целую кучу фотографий.

– Смотрите, если найдете, покажите.

– Ее здесь нет, – сказала я замогильным голосом.

– Ну что же, посмотрим здесь. Он полез в другой шкаф. В одной из папок нашлась эта фотография.

– А это кто рядом стоит, вы?

– Да, я.

– Ничего, красивый молодой человек, – сказал он, глядя на меня с улыбкой.

– Дайте мне ее ради бога!

– Ну, если ради бога, придется дать, только чур, никому ни слова, а то мне придется принимать здесь клиентов, а это не положено.

Схватив карточку и спрятав ее на груди, я помчалась в барак. Это было такое невероятное счастье! Сережа улыбался мне своей особенной прекрасной, светлой улыбкой.

Ну, конечно же ,вся камера тотчас была посвящена в это событие, карточка побывала в руках у всех и даже у старосты Земсковой, всем известкой стукачихи.

Она однажды спросила у Рашели:

– Что ты смотришь на меня, как гадюка?

– Вижу перед собой гадину, вот и смотрю как гадюка.

Удивительно, что эта Земскова ее не уничтожила, это было проще простого.

Была среди нас еще одна стукачка, но мы этого не знали, уж очень она была скромненькая. Головка змеиная, маленькая, а когда она ходила, то все время оглядывалась, как будто ее преследовал уголовный розыск. Эта Мальцева влезла в душу нашей Норочке и начала из нее выкачивать «сведения». Нора всех людей считала ангелами небесными и изливалась перед ней со всем простодушием человека, которому нечего скрывать. Но, как известно, даже самую невинную фразу можно переиначить таким образом, чтобы она подходила под 58-ю статью, и никак не меньше! Вскоре Норочку мою вызвали среди бела дня с вещами и увели за ворота! Это было моим огромным горем, но помочь этому все равно было ничем нельзя. Когда кого-нибудь уводили, обратно этот человек не возвращался. Каково же было наше удивление, когда Нора через 2 месяца вернулась! У Мальцевой не прошел номер, она была разоблачена перед нами, потому что в предъявленных обвинениях фигурировали именно те слова, которые говорила ей, и только ей, Нора. Нора просидела в одиночке 2 месяца.

В это время было еще одно сногшибательное событие: я получила посылку от мамы! А было это так. Мама пошла узнать обо мне опять в те же

святая святых на Кузнецком, 24. Там люди бывалые ей посоветовали: пошлите посылку в Томскую тюрьму, там, говорят, есть жены, если посылка не вернется, значит, она там. Сказано-сделано. Свиное сало, чеснок, сахар, сухарики ванильные и, главное, одежда – все это пришло, было принято моими конвоирами и передано мне. Радости не было конца!

– Девочки, скоро свобода, видите, уже можно получить что-то с воли.

Но т.к. переписку все равно не разрешали, посылок, писем не было никому, кроме буквально единиц, которым, вероятно, вот так же на «авось» послали посылочку.

Зажили мы с Норочкой снова, и приблизилась снова зима лютая. Мы лежали на нарах под окнами и поэтому выбили стекло, чтобы воздух непрерывно поступал в камеру. Конечно, никто бы не согласился лежать под ледяными наплывами-сталактитами. Густой пар из 100 глоток так и вываливал на «Бродвей», а взамен лился ядреный, сибирский дух, хорошо!

Все подходили любоваться сталактитами, принимающими самые причудливые формы и удивлялись новоиспеченным йогам!

Нора жила по завету Иисуса нашего Христа «Будьте как дети». Непосредственность, с которой она принимала все происходящее и только на тот час, в котором это происходит, исключало какую бы то ни было философию или злобу на вышестоящих. Жить мгновением, реагировать на мгновения, что может быть мудрее? Мы подружились потому, что я была по сути дела еще ребенок, однако наша разница в 15 лет нисколько не ощущалась. Мы смеялись, как дети, над всем смешным, что происходило вокруг, и, вероятно, многие считали нас придурковатыми. Наши нары буквально содрогались от хохота. Среди нас жила Горянова Наташа – дворник, жена какого-то наркома. У нее были глаза навывкате, с чудовищно глупым выражением, полные щечки, всегда красные, как морковь, и седые космы. По прибытии на эту зону она пожелала нести должность дворника – что ж, это ей очень подходило! Я не могу себе представить ее без метлы. Даже когда она входила в камеру, она обнимала свою метлу! Она была

предметом наших постоянных шуток, и только камень устоял бы от смеха, когда она принималась рассказывать о своей прошлой жизни:

– Знаете, девочки, – говорила она, садясь на край нар. – На воле у меня были золотые кудри и пунцовые губки. Я обожала платья воздушные, кисейные, как облако... В меня влюбился художник Курилка, знаете, конечно, это известный художник. Он без конца писал меня. Писал, писал и писал... Я ему позировала в гамаке, моя рука (у меня на воле очень красивые были руки, пальцы, знаете, длинные предлинные), так вот, моя рука ложилась на край гамака, грудь вздымалась, я изящно выставляла ножку...

Тут мы совершенно падали в истерику. На ней были тюремные ботсы 45 размера с толстой подошвой и тюремный бушлат вместо газового платья! (Бушлат и ботсы ей выдали за почетную должность дворника). Она продолжала:

– Моя любовь была сдержанной, и любила я его внутри, а снаружи я любила своего мужа. Нельзя же было не любить Курилку! У него были зеленые длинные глаза, т.е. один глаз! Другой он где-то потерял и носил элегантную черную повязку! Я сходила с ума! Девочки, это был не человек, это шедевр! Картины с моим изображением конфисковали, их, видимо, взял какой-нибудь негодяй из НКВД.

И далее все в таком роде. Однажды утром она нас разбудила словами:

– Девочки, выпал снег! И представьте – на всей территории!

Можно было лопнуть от смеха, слушая ее романтические приключения. Когда ее с нами не было, я ее постоянно изображала, говорят, было похоже, и тогда вокруг нас собиралась толпа, и все хохотали, как безумные.

Нора сказала мне, что за всю свою жизнь столько не смеялась, сколько мы смеялись в Томске. Пожалуй, и о себе я могла бы это сказать, потому что у меня были зрители, много зрителей, и они постоянно подогревали во мне чувство юмора, а где можно найти больше искривлений, чудачеств, глупостей, как не в толпе? Материала хватало – только смейся!



Пожалуй, самым страшным в этой тюрьме был банный день. Баня была за воротами, в зоне общей тюрьмы. За день надо было пропустить уйму заключенных, поэтому давалось 20 минут на все: раздеться, вымыться, одеться, построиться. Тюремщица, зверь-баба, орала истошно: «Давай, давай, скорей, мать вашу» и т.д. Шаек не хватало, лихорадка была (хотелось вымыться), вырывали друг у друга шайки, ругались интеллигентно, но крепко, и порой намылишься, а обмыться нечем. Впрочем, слово «намылишься» надо заменить на «накеросинишься». Все вши были уничтожены такой баней, только мы могли ее пережить и не сдохнуть.

Голову мыли керосином, какие уж тут вши! А мыла давали 2 см<sup>2</sup> на все: на себя и на стирку на всю неделю.

В бане нам не было смешно, зато после бани, вспоминая, как мы бросались в бой за шайки, принимались за свое – вырабатывать смех.

Кстати говоря, на стенах этой бани были вырублены многие автографы революционеров, когда-то завоевавших себе право быть расстрелянными своими же товарищами. Были и надписи, вот они: "Входя, не печалься, выходя, не радуйся" (поистине мудрец написал); "Не верь, не бойся, не проси и лишних слов не говори"; заповедь заключенных: "Всяк входящий, оставь надежду".

Когда не знаешь, куда  
направляешься, заходишь  
всегда дальше.

В 1939 г. стояло сухое, жаркое сибирское лето. Из двух с половиной тысяч женщин заняты каким-нибудь делом были разве что 100 человек. Остальные уже два года костенели в бездействии.

Однажды, сидя на нарах, вышивая очередную вышивку, я увидела свою соседку в каком-то странном состоянии. Ничего перед собой не видя, она гладила воздух и приговаривала: «Сыночек, миленький, как ты похудел...

родненький...». Попробовали ее отвлечь – ничего не доходило до ее сознания. Слезы градом катились у нее по щекам, она никого из нас не узнавала. Побежали в комендатуру, скоро пришли конвоиры и ее увели – по видимому, отправили в сумасшедший дом.

Через некоторое время молодая женщина сошла с ума. Она бросалась на мужчин в комендатуре и требовала от них любви не за страх, а за совесть, страшно матерясь при этом.

Следующая трагедия последовала очень скоро. Одна из удивительно красивых женщин решила покончить собой. Для этого она пошла на запретную зону в надежде, что ее пристрелят с вышки. Но ее не пристрелили, а просто посадили в карцер. Там, вцепившись в решетку, она день и ночь кричала несвязные речи. Леденело сердце, когда глядели на нее. Она осталась в моей памяти со сверкающими глазами, распущенными волосами, необычайно красивой, но безумной и буйной. Ее также увезли от нас.

Мы стали требовать, чтобы нас отправили работать. Уже 2 года мы не знали, что творилось в стране: ни газет, ни радио, ни книг – ничего, что питало бы мозг и шевелило бы душу. Мы были заживо похоронены в пределах 4-х тюремных стен.

Осенью нас стали перетряхивать и пересортировывать, с тем, чтобы группы, созданные заново, не знали друг друга. Мы возликовали снова, вообразив, что нас скоро распустят по домам.

Эти группы отправляли ночью. Нора со своей группой, человек 30, ушла первой. Через некоторое время пустилась в неизведанное и я. Нас подняли ночью и, окружив собаками и конвоирами, повели через всю тюрьму в черную, густую пропасть ночи. Темно было хоть глаз выколи. Лай собак и крики конвоиров: «Са-а-адись!», «Бе-е-егом!» – вносили в эту операцию что-то от кошмарного сна, когда хочешь проснуться и не можешь... Какие-то кусты хлестали в лицо, страх, что собака бросится на тебя сзади, не давал возможности передохнуть, остановиться, опомниться, осмыслить... И мы бежали, как затравленные зайцы, не зная, в какие еще сети попадем.

Наконец мы вылетели на открытое место. Это было полотно железной дороги. Нас погрузили в вагоны. Стояли долго. Вероятно, еще и еще подгоняли группы женщин.

К утру мы двинулись в путь. Куда? Кто мог это знать? В этот раз мы ехали недолго. Днем мы были уже на месте. И этим местом была пересылочная тюрьма в Мариинске.

Мы шли по огромному лагерю, где нам встречались заключенные мужчины и женщины. Некоторые из них подходили к нам, спрашивали, откуда мы и по какой статье отбывали «наказание».

Один из мужчин поразил нас тем, что он уже 10 лет отсидел в этой тюрьме. «Неужели это возможно, 10 лет отсидеть – и не потерять способность смеяться?» – думала я. Мне казалось, 5 лет, что мне дали, – это вечность, которую нельзя перешагнуть. Нас поселили в бараке опять вместе.

Постепенно из томской тюрьмы перевезли почти всех жен. Некоторых отправили в Магадан, в другие лагеря.

В один из дней мы должны были пройти медосмотр. Согнали человек 20 в большую комнату: раздевайтесь догола... Голых приглашали по одному в другую комнату пред светлые очи комиссии, состоящей из военных, сидящих за длинным столом. Быть может, это были врачи, быть может, начальники лагерей – мы этого не знали, ведь белых халатов ни на ком не было. Женщина кружила жертву во все стороны, пока эти мужчины рассматривали её со всех сторон. Затем отправляли в другую комнату, где подвергали бритью. На голове волосы оставляли. Вещи наши прожаривались в это время в прожарке. После этого мы одевались и отправлялись в свой барак. Некоторые изнеженные женщины поднимали крик: не хотели раздеваться. Тогда грубая баба-тюремщица «помогала» им раздеться силой.

Мы прожили там недели две. Днём вас выводили под конвоем в поле копать картошку. Какое это было наслаждение! Очутиться вдруг под открытым небом в поле. Вдали синел лес. Тёплые лучи солнца грели землю, и казалось, стоит только захотеть и пойдешь, куда захочешь. Там, в поле, я

увидела художника. На крошечных, грязных кусочках бумаги он делал наброски с работающих заключённых. Он был таким заморышем, так истощён, худ и слаб, что, казалось, если нагнется, то упадёт и уже не встанет. К сожалению, я не могу вспомнить его фамилию.

На другой день я принесла ему коробку цветных карандашей и пачку бумаги. (Мне всё это мама прислала в посылке). Художник растерялся, засуетился, не знал, что ему сказать, и наконец заплакал. Для тех мест и для того положения, в котором он находился, это был бесценный подарок.

Птица укрывается от бури на короткое мгновение, и немедленно она из холода попадает в холод опять.

Беда Досточтимый

В первых числах сентября 1939 г. нас вывели из барака часов в пять вечера. Отобрали человек двадцать и погрузили в грузовую машину с одним конвоиром. Другую машину заполнили нашими вещами. Погода была дивная: тёплая, солнечная, поэтому мы были одеты по-летнему и никакие вещи не взяли с собой на случай холода. Оставшиеся женщины махали нам рукой и кричали: «До свиданья, до встречи в Москве!» Никакой силой невозможно было выбить из нас надежду на освобождение!

Ехали хорошо, весело и даже пели песни. Конвоир, уткнувшись в свою винтовку, сладко дремал.

Но вот стал тихо- тихо накрапывать дождь. На чистое небо надвигались тучи, свинцовые, тяжёлые, холодные. Стало быстро темнеть, и стоячий воздух вдруг сменился жгучим, холодным, колючим ветром. Вокруг нашей машины всё кипело и лилось. Дождь не был дождём, это были сплошные потоки воды, взмываемые ветром, свистом, ревом. Мы скатились со скамеек на дно машины и прижались друг к другу. Природа надломилась и озверела, возмущённо крутясь возле нашей машины, она уничтожила все следы дороги, фары просвечивали тьму, в которой серебряные полосы дождя

размывали землю. Конвоир согнулся в три погибели, обнявшись со своей винтовкой, а мы, мокрые до последней нитки, всё теснее прижимались друг к другу, стараясь согреться. Вдруг машина накренилась, завизжал мотор – и она опрокинулась набок. Мы вывалились из кузова в месиво земли. Шофёр давно уже сбился с дороги и теперь въехал в распаханное поле, а затем в яму. В сплошном мраке ярко светили фары, и, сверкая в этом луче, хлестал дождь. «А ну, девочки, – заискивающе обратился к нам конвоир, – раз-два, взяли! Попробуем общими силами поднять машину».

Мы облепила кузов и пытались поднять его и поставить на колеса. Эта бесполезная работа служила нам только тем, что мы согрелись. Поднять машину мы, конечно, не могли. Конвоир, видимо, чувствовал себя не совсем спокойно. «Враги народа» могли разбежаться во все стороны, и он ничего не мог бы сделать. Но было все как раз наоборот: – мы боялись, как бы он нас не бросил и не убежал сам!

А дождь все лил и лил, разверзлись хляби небесные. Под ногами уже была не земля, а сплошной кисель.

– А ну, бросай работу, пошли пешком!

– Да вы хоть знаете дорогу-то? – жалобно пропищали мы.

– Знаю-знаю, пошли, дойдём до деревни и переночуем в сельсовете.

Не знаю, каким образом он мог ориентироваться в этой тьме, но часа через два, преодолевая потоки воды и грязи, мы действительно пришли в деревню. Была глубокая ночь, и всё живое спало под крышами в тепле. Конвоир постучал в окошко одного домика. Вышел заспанный старичок, видимо сторож сельсовета.

– Браток, пусти отогреться, мы из лагеря, у меня тут женщины.

– Входите, входите, милые, – бормотал спросонья старик, – щас подброшу дровишек в печурку, чугунок ещё не погасла.

Мы вошли в большую комнату, где стояла чугунная печка, было тепло и светло. Тотчас белые, чистые полы в сенях превратились в грязное озеро. Мы отжимали наши платья и развешивали их на столах и стульях в комнате.

Из печки лилось дивное тепло. Мы разлеглись на тёплом полу как убитые. Пробуждение было как в сказке, когда бросит Иванушка пёрышко – и грянет гром, и упадут силы небесные на землю. В Сибири почти не бывает промежуточных состояний погоды. Лето ясное, жаркое – и сразу зима лютая. За одну ночь недолгая осень надломилась, и шёл снег, и ветер колючий, злобный, сковал землю морозом. Наши невысохшие платья гремели, замерзнув, как только мы вышли из избы. Стуча зубами и прыгая на ходу, мы двинулись к реке Яя, через которую нас перевезли на пароме на другую сторону, где расположился лагерь для заключённых.

Все пережитое дикой ночью с утра мы переносили с такой покорностью и беззлобностью, как будто с детства были подготовлены к самой жестокой судьбе. Нас поглощала каждый раз только данная ситуация, из которой надо было выскочить и не погибнуть. В данном случае мы были уверены, что у нас у всех будет по меньшей мере воспаление легких. Ничего подобного! Даже насморка никто не получил. Такова природа человеческого организма – он борется неведомыми силами сам в себе, а в данном случае нас ещё спасла баня. Прямо из ворот нас погнали в горячую баню и продержали там почти целый день. Мы всё успели перестирывать и кое-что высушить. К концу дня нас построили и повели через весь лагерь в изолятор. По дороге я вдруг увидела свою Норочку, мы бросились друг к другу, но конвоир тотчас нас разъединил. «Какое счастье, ты тоже здесь!» – кричали мы друг другу.

В изоляторе мы продержались недели две: видимо, полагалось убедиться, что мы не принесли с собой никакой инфекции. В этом изоляторе я ближе познакомилась с Наташей Пойгиной. В Ленинграде она работала в школе учительницей истории. Оставшиеся три года заключения мы жили вместе. Нора тоже была в этом лагере, но в другом бараке, так что наше общение сильно сократилось. Наташа П. была племянницей очень известного в России Давида Лазаревича Тальникова, который жил в Москве. Он был театральным критиком и писателем.

После изолятора нас перевели в барак с 4-этажными нарами. На 500 человек. Пришёл начальник фабрики – серый, как мышь, мужчина, с пепельным цветом кожи, постоянно при разговоре откидывающий голову назад и закрывающий при этом глаза. Фамилия его была Осипюк, но мы все звали его «Описюк» – это как-то больше к нему шло. Он, закрыв очи, нам объявил, что завтра мы после проверки должны отправиться на фабрику работать. Будем шить бушлаты и брюки для военных. На другой день мы пришли в цех, где стояло 90 швейных машин и спецмашины для пришивки пуговиц. Когда мы расселись за машинами, нам всем роздали лоскутья, что бы мы поучились шить. Нашей начальницей была страшно бледная и худая девушка с покалеченной рукой. Она, по-видимому, твердо верила, что ей пришлось работать с величайшими преступниками, врагами народа. Поэтому она почти не открывала рта и не говорила с машинистками, а только с бригадиром, которого мы тут же выбрали из своих «жен».

С одной стороны, мы были в восторге, что кончилась мертвая жизнь, без цвета и запаха, ровная, плоская, ненужная, и началась какая-то деятельность. Но, с другой стороны, эту деятельность не так-то просто было освоить. Первое время все прошивали себе пальцы, не умея остановить бешеный темп машины. Из-под неё мгновенно вылетал кусок материи, как только нога дотрагивалась до педали. Женщины ревели и предавались такому отчаянию, как будто снова их бросили в мясорубку, где перемалывалось всё одинаково зверски - тонкое и толстое, глупое и умное, умелое и нескладное.

Однако, нет ничего такого, что рано или поздно не кончалось бы. Шить научились и старались изо всех сил. К тому немалые были причины. Чтобы жить, чтобы есть, надо было выполнить норму. Она давила всей своей силой на плечи, руки, нервы, и уже не оставалось ничего человеческого после 12 часов гонки. Наташа как бы выиграла лотерейный билет в борьбе за место в цехе. Она села за спецмашину, пришивающую пуговицы. Этим она обеспечила себя стахановским столом (800 г. хлеба и почти обед) и в течение 12

часов имела возможность передышки, тогда как машинистки, чтобы выполнить норму, не могли ни на секунду оторваться от работы. Мне же досталась пришивка рукава к тяжёлому военному бушлату. Нужно было эту машину повернуть вокруг лапки машинки и точно вшить рукав. Когда останавливался конвейер, я буквально падала на машину, шея и плечи так болели, что руки нельзя было поднять, а ночью спать. Но, так как моя работа с дровами в Томске и моя йоговская гимнастика сделали меня не только сильной, но и умеющей добиваться нужных результатов, очень скоро я навала вырабатывать 160 % нормы. Конечно, это давалось напряжением всех сил, и после 12 работы я падала на конвейер, не в силах даже подняться.

Для кого-то ветер веет свежий,  
Для кого-то нежится закат,  
Мы не знаем, мы повсюду те же,  
Слышим лишь ключей постылый скрежет  
Да шаги тяжёлые солдат.

А. Ахматова

Наконец-то разрешили переписку. Посылки можно было присылать в три месяца раз, так же и письма для нас. Нам же можно было писать неограниченно. Ни у Наташи, ни у Норы не было родных, которые могли бы им присылать посылки, поэтому, когда я получала от матери посылку, мы устраивали настоящий пир на нарах. Мы брали ведёрко кипятку, заваривали прямо там настоящий чай, ели с хлебом сало, прикусывая чесночок, а главное – сахар. Все наши сроки никто не догадался подслащивать сладким – сахар не выдавался нигде. Но восьмикилограммовая посылка так невелика, а мы были все раздеты чуть ли не донага, так что это было как капля в море. Все же моя мудрая мать присылала мне посылки чаще, чем полагалось, вряд ли кто-либо это проверял в 15-ти тысячном лагере. Поэтому постепенно я обростала одеждой и просила, чтобы мама присылала мне все вдвойне, чтобы одеть Наталью. Много мы шили себе сами в цехе. Ведь там была вата,



нитки, машина. Так я сшила себе сапожки, а калоши на них были присланы из Москвы.

Втянувшись в работу, мы урывали часы для занятий. Мы распределяли между собой курс лекций. Наташа учила нас французскому языку, Нора – астрономии, а я была неучем, поэтому читала импровизированные лекции по философии. Как известно, философия растягивается, как резина, во все стороны и, как бы ее ни повернули, всегда что-нибудь да значит. Во всяком случае, мои слушатели были в восторге. Позже я, сидя за машиной, сочиняла стихи и потом читала их своим друзьям. Так что умалять свои достоинства я нисколько не намерена!

Есть в жизни каждого из нас  
Один такой заветный час,  
Когда вдруг все бывшее  
С такою силой оживет,  
С такою остротою,  
Что судорога грудь сведет  
И нет тебе покоя...

Времени было так мало, что мы успевали все! И рисовали, и вышивали, и читали. В лагере была великолепная библиотека (вероятно, из конфискованных). Я успевала много читать, и книги там воспринимались так глубоко, с такой силой, с какой никогда на воле не могли бы восприниматься. Был там клуб. Нашлись и «артисты». Особенно восхищались мы Татарниковой. Она пела цыганские и русские романсы так задушевно, с таким выражением боли и тоски, как будто глядела к нам в душу. Нина Лекаренко оформляла спектакли – она была художницей из Ленинграда. Инженер Покровский с электростанции умилял меня своей страстью к барабану. Он в оркестре занимал место барабанщика. Позднее, когда мы с ним познакомились, он, смущаясь, говорил: «Какой оркестр без барабана?» И я с готовностью отвечала: «Вот именно! Какой оркестр без барабана!»

Однажды в цех пришел начальник фабрики Осипюк (Описюк) и

спросил: «Кто желает учиться на механика швейных машин?» Не успела я и рот раскрыть, как моя Наталья записала меня и себя. И сестры Тухачевские тоже записались в ученики.

Месяца три мы овладевали премудростями техники. Мне это было легко, ведь я училась после школы в авиационном техникуме. Сдали экзамен и стали работать в том же 7-м цехе, но механиками. Надо было обеспечить бесперебойную работу 90 машин.

Физически эта работа была трудной. Конвейерные машины 31 класса тяжёлые и капризные. Но зато у механиков (2 механика на цех) была отдельная кабина с инструментами и деталями. Когда часам к четырем ночи все машины однообразно жужжали и дружно работали, можно было расслабиться, как бы уединиться в своей кабине и, отдавшись грёзам, точно плыть по неведомому морю в неизведанные страны. Эта изолированность от постоянной толпы была настоящим счастьем. В обычной жизни мы не умели ценить эти сосредоточенные минуты одиночества, когда никто не нарушает твоего настроения и мыслей. Удивительно, до чего нереальной казалась жизнь где-то там, за этим глухим забором. Невозможно было представить себе возвращение. Как только я пыталась представить себе, что я вышла за ворота и могу идти куда хочу, тут же возникала новая стена, за которой ничего не вырисовывалось. Это был мрак и знак вопроса.

Желтые звезды и фонари

В небе висят от зари до зари,

И в занесённых окнах горит свет.

Большинство людей обязано подчиняться  
Назначению быть серым материалом  
истории. Им, как например, пеньке, не  
нужно думать о том, какой толщины и  
прочности совьют из нее веревку и для  
какой цели она необходима!

М. Горький

Во всех случаях жизни Наташа умела быстро сориентироваться, так было и здесь. Она очаровала нашу начальницу и попросила дать ей пришивку пуговиц на спецмашине. Все работающие на спецмашине имели стахановский стол – весьма немаловажное качество в системе лагеря. Кроме того, создавались длинные паузы в процессе работы, когда продукция еще не доходила до пришивки пуговиц. Это давало возможность работать без напряжения. Машинистки же, сидящие за машинками, должны были выполнить свою операцию с колоссальной нормой, которую можно было выполнить только при условии бешеного темпа – и ни секунды простоя. 12 часов такой работы с получасовым перерывом изматывали все человеческие силы.

Так как я была молода и мне еще в детстве приходилось много трудиться и шить на машине, то освоить эту работу, в сравнении с другими, мне было сравнительно легко, я продумала каждое свое движение, чтобы не делать ни одного лишнего, и уже через месяц давала норму 160%. А операция была у меня сложная – пришивка рукава к бушлату. Надо было повернуть вокруг лапки машины тяжелый, ватный бушлат и точно вшить рукав. Конечно, это был каторжный труд. Плечи и руки болели день и ночь, и целые годы потом. Наконец, после 2-х лет строгой изоляции без переписки, мы получили возможность писать письма – одно в месяц и в 3 месяца раз получать посылки из дома (у кого он остался).

Ни Наташа, ни Нора посылок не получали. У Норы остались двое мальчишек Олег и Ярослав, которые сами нуждались в поддержке. У Наташи в Москве оставались родственники – семья Тальникова, но они боялись писать «врагу народа», и ничего не посылали ей. Моя же мудрая мама присылала посылки чаще, чем в 3 месяца раз, на «авось». «Авось» проходил, и я всегда получала, сколько бы она не присылала. Это были великолепные праздники. Мы брали ведерко кипятку, заваривали душистый,

настоящий чай, резали сало на хлеб и пили чай с сахаром или конфетами из Москвы.

Постепенно я обрастала бельем, шерстяными кофточками, паршивеньким пальтишечком (посылка 8 кг) и всегда что-нибудь оставалось и для Наташи. В дальнейшем мама присылала уже с учетом, что нужно Наташе. Хуже всего было с обувью. Нора научила меня шить сапожки. На фабрике была вата и грубая марля, мы делали верх из юбки, а подкладку из марли. На эти сапожки мама прислала нам калоши, так мы и ходили. Но была большая часть женщин, которые ходили в ужасных тюремных ботсах; это те, кто не получал никакой помощи с воли. Варезки, шапки мы тоже шили себе сами, вообще, зимой наша одежда, вероятно, до неузнаваемости меняла наш облик, и многих из нас, вероятно, не узнала бы родная мать.

Втянувшись в работу, мы стали понемногу оживать и вспоминать, для чего родились на земле.

Времени было очень мало, но мы все же урывали кое-какие часы на чтение и разные занятия. Так, я с Наташей занималась французским языком, с Норой астрономией, и стала пополнять таким образом скудное свое образование. В лагере была отличная библиотека (по-видимому, из конфискованных), и я очень много читала.

Однажды, когда мы с Наташей гуляли по поляне, к нам присоединилась Ксана Медведская. Она жила рядом с нами в бараке, но мы как-то не сумели разговориться, потому что работали в разные часы суток. Ее очень заинтересовал наш разговор: я как раз рассказывала Наташе что-то из астрономии и рисовала палкой на земле движение планет вокруг солнца. Мы понравились друг другу и все чаще стали вместе гулять. В это же время мне попалась изумительная книга Фламариона «Астрономия», потом английского астронома и философа, что-то вроде Джонсона, не уверена в правильности этого имени. Ксана взялась составить конспект этой книги, где затрагивались вопросы не только гармонии солнечной системы, но и вселенной, и всех самых великих и самых малых частиц в ней. Неисчерпаемый источник этой

науки совершенно нас захватил. Нора, которая много знала из этой области, обогащала нас не только знаниями чистой науки, но и повела по дороге древних наук, таких как тибетская, индийская, йогов, и.т.д. Все это было для меня захватывающей страницей жизни. Из дальних культов мы выписали, например, «правила жизни», которые были непреложными истинами как должен человек жить, и, пожалуй, это осталось в нас до старости.

Я очень полюбила Ксану, в которой как будто от рождения были уже заложены самые лучшие и благородные человеческие качества. Кроме таких, «возвышенных» занятий, мы много вышивали, читали, рисовали.

Но и искусство коснулось нас. В лагере был клуб. Изредка нам показывали кино, кроме того, среди наших жен нашлись и артисты, и музыканты. Нина Лекаренко работала там художницей и оформляла спектакли, которые ухитрились создавать наши женщины. Из работников с электростанции присоединились инженеры, они с успехом участвовали в этих спектаклях.

Никогда не забуду спектакль «Платон Кречет». В том месте, где Платон признается в любви Лиде, он проникновенным голосом, вернее шёпотом, говорит: «Я, кажется, с ума сойду...»

Вернувшись через 7 лет в Москву, я как раз на «Платона Кречета» попала в МХАТ. С таким же замиранием сердца, как и в лагере, я все ждала, когда он скажет: «Я, кажется, с ума сойду...» Оказывается, в «Платоне Кречете» вовсе нет этой фразы – какая обида! Меня прямо в дрожь бросало от этой захватывающей угрозы!

Инженер Покровский, с которым мы немного подружились потом, умилял меня своей страстью к барабану – он был в оркестре барабанщиком. Когда мы разговорились, он стал оправдываться: «Без барабана, какой оркестр?» – «Конечно, конечно, – спешила я его успокоить, – какой оркестр без барабана!» – При этом я довольно насмешливо на него поглядывала.

Прошло немного времени, и он «отомстил» мне за эти насмешки.

Однажды пришел в цех наш начальник фабрики Осипюк (мы его звали «Описюк»). Это был человек совершенно без лица, если только можно себе это представить. Серая кожа, обтягивающая нос и подбородок, без капли растительности, всегда при разговоре закрытые плотно глаза, и для внушительности он откидывал голову назад, как бы подчеркивая всю важность своих слов. На этот раз он остановил конвейер и спросил, кто желает учиться на механика швейных машин? Не успела я и рот открыть, как Наташа подскочила к нему и продиктовала: «Пойгина и Юнг».

Так попали мы в ученики к механикам в мастерскую. Записались с нами и сестры Тухачевские, Лёля и Маруся. Это был прямо-таки подарок. Три месяца более-менее свободной жизни, стахановский стол. Просто даже интересно было изучать еще один раздел технического труда.

Так как я окончила авиационный техникум, мне эта учеба далась очень легко. Наташе было труднее, но она прекрасно владела словом, и экзамен сдала на отлично, а я, естественно, на удовлетворительно, потому что меня больше интересовали шатуны и втулки, а не красочное их изображение.

Теперь уже нас направили в тот же 7-й цех как механиков швейных машин. У нас была своя кабина (отдельный, так сказать, кабинет) с деталями и инструментами. Физически эта работа была трудной, машины 31-го класса тяжелые, большие, в цехе их было 90, и надо было, чтобы все до одной хорошо работали, ведь задержка одной детали останавливает весь ход конвейера и уже не будет выполнена норма всего цеха. За это мы отвечали и поэтому носились по цеху без передышки.

Кроме 2-х механиков была еще Надя – фракционщица, которая подтягивала ремни на трансмиссию. Она была из уголовниц, сидела за убийство своего мужа. Хороший, вероятно, был муж!

Когда часам к четырем ночи все машины однообразно жужжали и переставали капризничать, было приятно внутренне освободиться, отделиться ото всех, как бы изолироваться и, отдавшись грезам, точно плыть по неведомому морю в неизведанные дали. Удивительно, до чего нереальной

казалась жизнь, где-то там, за этим глухим забором. Невозможно было представить себе возвращение. Как только ты пытался уйти мысленно за ворота, перед тобой возникала некая стена, за которой ничего не вырисовывалось, туман неизвестности был настолько плотным, что пробиться сквозь него не могло никакое воображение. Мои друзья и я сама были, пожалуй, из того сорта людей, которые сумеют жить везде. Я имею в виду не просто оставаться живыми, но именно жить полно и интересно. Отбросить от себя всю дрянь и мерзость окружающего, не замечать жестких досок на нарах, есть вонючую баланду (с аппетитом даже), не слышать лагерного мата в столовой, не видеть, не замечать совсем особенные рожи уголовников с сильно развитой челюстью, говорящих хриплыми голосами, издающими артистическую матерщину – поставить себя зрителем величайшей комедии, в которую ты попал по случайной контрамарке, – вот смысл бытия. Кроме того, учиться, жить полнокровной духовной жизнью, помогать окружающим, которым труднее, чем тебе, – вот программа, по которой мы жили. Но иногда выпадали ночи совершенно сумасшедшие. Машины, точно сговорившись, ломались одна за другой, машинистки нервничали (простой грозил невыполнением нормы, а это значит, паёк хлеба сокращался). Мы с Натальей носились по цеху, не успевая обеспечить работу всем, и тогда ночь, 12 часов, казалась одним кошмарным мгновением.

Скоро я узнала не только все 90 машин, но и 90 машинисток. Связь между машиной и машинисткой была попросту сверхъестественной. Если работница нервничала или была нездорова, машина немедленно обретала её свойства и не хотела работать! В таких случаях я делала вид, что чиню машину, сидела за машиной долго, давая возможность машинистке отдохнуть и успокоиться, затем подгоняла немного ее операцию, и почти всегда в таких случаях бедняга хвалила мою удивительную способность хорошо чинить машины! Если бы она знала, что я решительно ничего с машиной не сделала, она бы ни за что не поверила, ведь машина после меня стала... хорошо шить!

Так прошел целый год. Однажды с электростанции пришел наш барабанщик, инженер Покровский.

– Нет ли среди вас чертежников, умеющих проектировать, нам нужно срочно сделать чертежи новой электростанции?

Я подошла к нему.

– Я бы не прочь тряхнуть стариной: я РАБОТАЛА чертежницей в ЦАГИ... Глядя на меня, он усмехнулся:

–Тряхнуть стариной? Ну что ж, в таком случае пойдете к начальнику лагеря, у вас, вероятно, большой стаж в такой работе?

– О, да, я целых два года работала... в авиации.

Девчонка была с большим самомнением и юмором.

Начальник лагеря Моргунов зачислил меня на работу к Покровскому, который руководил конструкторской группой. Были даны немислимые сроки для выполнения этой работы, но заключенные всегда могли то, чего не могли бы никогда свободные люди.

Мы пошли на электростанцию. Мои первые шаги на этом поприще были ошеломляющими. Покровский привел меня в громадное помещение, где стояли три дизеля и сказал:

– Ну вот, Юнг, дело такое, – вам надо сделать всю схему нефтяной и водопроводной сети, снимете размеры и диаметры труб, все это составите на чертеже после своего эскиза. Вот вам рулетка, бумага, карандаш. Надеюсь, у вас достаточно опыта и вам не нужна моя помощь?

Тут он с высоты своего роста злорадно усмехнулся, одним махом отомстив мне за мои насмешки над его барабаном!

– Ну, что же, – храбро ответила я, – ничего тут нет особенного. Когда нужно принести эскиз?

– Через три дня. «Особенного» здесь, конечно, ничего нет, если говорить о работе, но имейте в виду вот этот щит с рубильниками. Ни в коем случае не подходите к нему близко, с обратной стороны уходят в землю провода с колоссальным напряжением, небрежность – моментальная смерть!



Ну, пока... счастливо оставаться! – и он спокойненько ушел, оставив меня в огромном зале, наедине с какими-то чудовищами-дизелями, которые качали откуда-то куда-то что-то для чего-то!

Людей не было. Ни души! А я стояла и вертела в руках рулетку, не зная что делать и с чего начинать. Но в 24 года ничего не боятся, потому что нет опыта, а его еще надо только приобретать. Отругав мысленно и себя за самонадеянность, и Покровского за глупость, я начала искать выход из этого помещения в какое-нибудь другое – где-нибудь есть же люди? Небольшая дверь вела вниз, в подвал, я стала спускаться по узкой лесенке, пока не попала в небольшое помещение, где у моторов сидел седой симпатичный старичок.

– Здравствуйте, дедушка, – заискивающим голосом поздоровалась я.

– Здравствуй, девонька, откуда ты такая взялась?

– Ах, дедушка, миленький, спасите меня ради бога, попала я в историю:, мне, видите ли, поручили сделать чертеж всей нефтепроводной и водопроводной сети... И чтобы ясно было, как работают дизеля и от каких моторов идет питание электричеством.

– Так, так... А что же постарше-то никого не нашлось, чай не дети же такие дела делают? А?

– Да что ж, дедушка, я уже совсем взрослая, это я сама вызвалась все сделать, да вот и запуталась.

– Ах сама, ну это другое дело, смелость города берет, это хорошо, что меня нашла, я тут уже 15 лет сижу у моторов и знаю всю электричеству как свои пять пальцев, я и живу здесь.

– Ой, дедушка, вот будет здорово, если я все сделаю и утру нос этому насмешнику, барабанщику.

– А кто же это барабанщик- то?

– Да Покровский, кто же еще!..

– Так это наш главный инженер, очень даже уважаемый, хороший человек.

– Да я знаю, что он хороший, вот мне и хочется сделать все как следует.

– Ну что ж, пошли изучать обстановку...

Труб по стенам видимо-невидимо, мыслимое ли это дело всё это перенести на бумагу, да еще дать им все размеры названия и дело? Но дедушка этот так просто, ясно и ладно всё мне рассказал и показал, что я нарисовала вчерне всю схему. Потом он повел меня наверх, на градирню. Там стояли огромные деревянные кадки, из них капала горячая вода вниз, в бассейн. По пути она остывала и снова попадала в трубы и через моторы – в дизеля: становясь снова горячей, шла обратно вверх, в эти кадки, и так совершался круговорот непрерывный. Затем прошли по двору, где была канавка с нефтью – питание дизелей. Целый день водил меня дедушка по электростанции, а я всё записывала и зарисовывала. На другой день я сняла все размеры и диаметры труб и набросала вчерне эскиз всей сети. На третий день явилась к Покровскому.

– Здравствуйте, вот я принесла эскиз...

– А-а-а, вот и «инженер» Юнг, ну посмотрим, посмотрим...– Он развернул мои бумаги и удивленно на меня посмотрел.

– Молодец, Мариша, не ожидал! Я думал, что вы все-таки взмолитесь и попросите помощи... ха-ха-ха...

– Ха, ха, ха, – передразнила я его, – это вам не барабан бить, тра-та-та, там одни бочки чего стоят!

– Как? Вы и на градирню лазили? – удивился он.

– Конечно, лазила, что ли я глупая делать дело вслепую?

– Ну, а честно – кто помогал?

– Дедушка там, внизу живет, помогал, ну и что?

– Молодец, Мариша, садись за этот стол и начинай чертить, только я кое-где поправлю эскиз.

Так 2 месяца я работала у Покровского день и ночь, даже ночью нам приносили что-нибудь поесть. Спали прямо за столом, иногда на 3-4 часа

уходили в барак, а затем включались снова в работу. Зачем нужна была эта спешка, непонятно. После 2-х месяцев я снова вернулась в 7-й цех к своим милым машинам и друзьям.

Гимнастика йогов сохраняла во мне постоянное здоровое возбуждение. Если большинство женщин страдало невыносимым нетерпением, болью за оставленных детей, то у меня вся ценность жизни была тоже где-то за решеткой, на целых 10 лет, торопиться мне было некуда, ведь я должна была бы и на воле ждать Сережу. Правда, до физического страдания хотелось знать, что с ним, где он и как себя чувствует.

Прошло уже 40 лет. 40 лет! Целая жизнь, а острота этого желания не уменьшилась, а, быть может, увеличилась.

Мы любим жизнь не потому, что  
привыкли к жизни, а потому, что  
привыкли к любви.

Ф.Ницше

Общая беда и общая работа связывали людей нежной заботой друг о друге – составлялись дружные группы, и привязанности возникали иногда очень сильные.

В цехе работала машинисткой по пришивке наколенников на военные брюки бывшая балерина Тамара Шредер. Она была арестована после ареста мужа еще в 1933 году. Так как она по паспорту значилась немкой, ей дали 10 лет самостоятельной 58 статьи. К тому времени, когда в лагерь привезли жен, членов семьи, Тамара Шредер сидела уже 6 лет.

В Москве о ней писали в одном из журналов: «восходящая звезда балета». И вот крах всей жизни! Арестовывают её мужа, горячо любимого человека. Затем и ее. О невиновности своего мужа она могла судить по собственной невиновности – и тем не менее 10 лет.

Ей было 35 лет, когда я обратила на неё внимание. Тонкая, легкая фигура, гладкая прическа черных до синевы волос, глаза тёмные, умные,

внимательно рассматривающие человека, с которым разговаривает. Походка её была летящей, почти не касающейся земли. Выдающийся талант в искусстве не всегда совпадает с таким же выдающимся умом. Здесь это было: ум сильный, совершенно мужской и широкий. Но всё это я узнала не сразу, вначале меня поразила её страшная озлобленность. Все её ненавидели, никто не хотел иметь с ней дела, так как сразу же наталкивался на раздражительный и резкий отпор. Особенно яростно и злобно она относилась к своей работе. Легко себе представить, что может сделаться с человеком, который, обладая талантом и незаурядностью, уже 6 лет выполняет ежедневно по 12 часов одно и то же почти механическое дело. Когда нервы совершенно сдавали у нее от возмущения, если переставала работать машина, она прибегала в нашу кабину с перекошенным от злобы лицом и говорила, что машина никуда не годится, на ней невозможно работать и т.д. Я шла к ней прямо-таки со страхом, проверяла машину, она была в отличном состоянии, и тогда я делала вид, что с машиной совсем плохо!

Переворачивала её на бок и единственное, что делала, это немного её смазывала и подчищала. Всё это я проделывала очень долго. Тамаре я говорила, что здесь работы, мол, много, иди там посиди на продукции. Надо было дать ей остыть и отдохнуть. Но, чтобы выполнить норму, надо было подогнать и злосчастные наколенники! Тамара приходила, садилась за машину и всегда говорила, что никто так не умеет чинить машины, как Мариша! Чтобы её несколько отвлечь от этой работы, я подсаживалась рядом, и мы начинали разговаривать.

Если не было в цехе запарки, мы подолгу знакомились друг с другом. Я узнала, что в 1937 г. её мужа расстреляли. А до этого он четыре года писал ей письма. Что в 1938 году она в этом Яйском лагере познакомилась с интересным человеком, Костей Тумановым, и они полюбили друг друга, правдами и неправдами встречались при строгом запрете со стороны властей.

Но, как известно из всемирной истории, чем больше замков и запретов стоит на пути влюбленных, тем скорее у них появится потомство. У Тамары

родилась дочь, которую она назвала Магдой. У Кости приговор был 5 лет. Вскоре он освободился и уехал, переписка продолжалась до трех лет Магды, которая теперь воспитывалась в тюремном детском саду. Мать могла только на некоторое время видеться с дочкой, в которую вложила всю свою истерзанную душу.

Однажды она получила письмо от Кости, который писал, что девочке уже три года, надо выпустить её на волю, он просит отдать ему дочь до Тамариного возвращения. Сам он уже обосновался в Москве; кажется, в театре им. Станиславского был режиссером его брат Туманов. Можно себе представить эту разлуку! За девочкой приехали и забрали её в другую жизнь, в семью. С этих пор Тамара стала ненавидеть каждый кусок земли, по которой ходила, не выносила людей, которые лезли к ней со своим сочувствием, и особенно фабрику, которая изматывала все её силы. Всё это она понемногу мне рассказывала, и это давало ей какое-то облегчение. Однажды она предложила мне в пересмену с ночной смены на дневную (выходных у нас не было) прийти к ней в барак в гости. Сидя на верхних нарах, мы пили кипяток с хлебом, а потом Тамара стала мне читать письма её первого мужа. В том понимании, в котором мы привыкли считать слово «письма», это никак не объясняло этих произведений искусства. Они не только были источником самой возвышенной и прекрасной любви, но и чистой философии с талантливым изображением всего, о чем он думал и мечтал. Т.к. я много читала с самых ранних лет и всегда книга была моей страстью, особенно хороший язык, то эти письма произвели на меня самое потрясающее впечатление. Так мы стали всё больше сближаться, и мне всегда удавалось усмирить мятежный дух Тамары. Она так и звала меня – «мой ангел Мариша». Мы всякое свободное время посвящали чтению её дневника и переписке с мужем. У неё было много тетрадей с выписками из книг, она перечитала за эти годы все книги, находящиеся в этом лагере. Её дневник представлял из себя как бы сгусток человеческих размышлений и

никак не опускался до жалоб и сетований на ежедневную муку, которую она переносила уже такой большой срок.

После того, как она отдала Магду, она стала курить – дополнительное мученье в условиях лагеря. Табак можно было достать только за пайку хлеба у бытовиков. Однажды я решила её побаловать, разрежала пополам свой пай, а другую пайку выменяла на пачку табаку. Рано утром после ночной смены помчалась в барак Тамары и положила ей под подушку эту пачку, потом пошла в свой барак спать. Через некоторое время кто-то снизу дергает меня за ногу – Тамара.

– Пойдем, надо поговорить, – сказала она сердито.

Я спустилась, и вот мы стоим на крыльце барака друг против друга.

– Ты что же, хочешь быть хорошей? За счет моей подлости? Не дорогая ли это цена за пачку табака?

Я стою молча и не знаю, что отвечать уж очень бешеный вид у Тамары.

– Так вот тебе! – Она бросила на пол эту пачку и стала топтать её ногами. – На, получай, вот тебе твоя жертва! Чтоб это было первый и последний раз! Я не позволю никому унижать себя! – С этими словами она бросилась бежать, а я забралась на нары и часа два редела, как ребенок. Мне так хотелось сделать ей приятное!

В цехе Тамара подошла ко мне:

–Я прошу у тебя, Мариша, прощения, но за форму, а не за содержание.

Мы помирились и продолжали много рассказывать о своей вольной жизни. Так я узнала день рождения Магды. Тут без ведома Тамары была изрезана черная юбка, Нора нарисовала мелом двух дерущихся петушков, и я стала вышивать портфельчик детский из цветных ниток. В день рождения Магды я убежала в 6 часов утра из цеха и пробралась в садик начальника 3-й части, где росли замечательные маргаритки. Спрятав цветы за пазухой, я бегом помчалась в барак, поставила их в выпрошенную у кого-то чашку и сунула в букет свое стихотворение.

Тут в букете маргариточном,

В каплях розовых дрожа,  
Одинокая и грустная  
Спит твоя душа.

В портфельчик тоже было положено письмо с поздравлением и мокрые от росы маргаритки. Все это я красиво расположила у Тамары на нарах. Когда она пришла из цеха, её ждал этот сюрприз – для тех условий, в которых мы жили, букет цветов был сказочным подарком! Уснуть я не могла и со страхом ждала, когда придет Тамара: я боялась повторения с табаком! Но она пришла в слезах, и мы обнялись молча, понимая, что слова тут совсем не нужны.

Шел четвертый год моей изоляции. В стране началась война.

Как рыбы попадают в  
пагубную сеть и как птицы  
запутываются в силках, так и  
сыны человеческие  
улавливаются в бедственное  
время, когда оно неожиданно  
находит на них.

Екклесиаст

Однажды в 3 часа ночи в барак пришёл конвоир. Дневальная разбудила меня: «Мариша, тебя в 3-ью часть». Это была «та часть земли», которой заключенные боялись как огня. Я быстро натянула на себя одежонку и пошла с конвоиром по тихому, пустынному лагерю к небольшому деревянному домику, где работали начальники НКВД.

В кабинете был яркий свет и за столом сидел начальник, лет 35-ти и довольно приятной наружности.

Он осмотрел меня с ног до головы и кивнул на стоящие в ряд стулья. Я села и сложила на коленях руки, приготовившись слушать, что же мне скажет этот человек.

Начался традиционный вопросник, раздражающий своей тупой и ненужной глупостью: кто такая? что делала до 17-го года? (ходила под стол), кто были и есть бабушка, дедушки, мать, отец, родственники, а главное, кто был или есть за границей? сколько языков знаешь? и т.д. Через час мы уже продвинулись далеко вперед и поближе к действительности,

– Скажите, вы здесь с кем-нибудь дружите?

– Конечно, дружу, у меня много друзей.

– Вот как! Ну, много нам не надо, а с кем вы особенно близки?

– Право, не знаю, я всех люблю и дружу с соседками по нарам, и, кроме того, я ведь механик, значит и в цехе много очень приятных и хороших женщин.

– Я вас совсем о другом спрашиваю, у вас лагере есть друг – мужчина? Вы ведь хорошенькая девочка...

– Мужчина? Ну, не то чтобы особый какой-то друг, но товарищи есть, например, инженер Покровский и механики в мастерской.

– Вот это уже что-то.

– Не понимаю.

– Потом поймете. Еще такой вопрос – от кого вы получаете посылки?

– От мамы из Москвы

– От мамы из Москвы, хорошо. А в какой упаковке она вам присылает посылки?

– Не все ли равно в какой, – сказала я, раздражаясь тем, что никак не могу уловить связи между самыми разными темами разговора. – Обычно в деревянных ящиках. А один раз зашитая в материю посылка.

– Прекрасно. А как выглядит этот материал?

– Белый. Это, видимо, был белый халат. Ведь мама догадывается, что здесь каждая тряпочка очень нужна.

– Это мне понятно, – сказал он, улыбаясь. – Вот вы сейчас идите в барак и принесите мне этот материал.

– Я не могу принести, он у меня пропал.



– Как это пропал?

– Я это употребляла для своих Женских дел и после стирки повесила на веревочку у барака, вот он и пропал: вероятно, ветром унесло.

– Вполне возможно, что унесло. А как выглядел этот материал, на нем были какие-нибудь пятна или вы его отстирали совсем чисто?

– Как же! Отстираешь тут чисто! Мыла-то дают 2 см! Все пятна остались, и адрес не отстирался.

– Запишем: все в пятнах. Распишитесь здесь.

– Пожалуйста, распишусь, только не понимаю – спать вам что ли не хочется – такой ерундой заниматься ночью!

– Спать очень хочется, но я на работе, и вы сейчас убедитесь, что до ерунды здесь очень далеко. Посидите, я сейчас вернусь. – И он ушел. Но скоро вернулся, держа с брезгливой гримасой мою большую и грязную тряпку, и расстелил её на полу.

– Это ваша?

– По-моему, да, потому что она сохранила выкройку белого халата.

– Так это точно ваша вещь? А эти пятна на ней?

– Ну конечно же, все это таким и было неотстиранным.

– Вот видите, к чему приводит неаккуратность. Мы сделали анализ этих пятен: здесь был завернут новорожденный младенец. Куда же вы его дели? И кто отец ребенка?

– Что-о-о? Какой ребенок, вы с ума сошли!!! Вздор какой!!!

Я то вскакивала со стула, то снова садилась, пораженная, как громом, неожиданностью концовки такого спокойного и, мне казалось, нелепого разговора.

– Как вы можете придумать такую сказку из-за какой-то там тряпки? Можете послать меня к врачу на обследование, чего проще, чем обвинять меня в такой несусветной чепухе!

Я вся дрожала и слов не могла подобрать, да и видела, что это ни к чему не приведет.

– Мы бы так и сделали, послали бы вас к врачу, но дело в том, что сегодня у нас 23 марта – весна, а эта тряпка пролежала под снегом с осени, целую зиму, так что роды-то были чуть ли не полгода назад! Я вам советую, расскажите всё как было, без всяких уверток. Где ребенок, что вы с ним сделали – и делу конец.

– Это бред какой-то. Мне рассказывать положительно нечего. Я вообще так себя чувствую, как будто сплю и мне все это снится. Непостижимо!

– Хорошо, идите и хорошенько обдумаете ваше положение. Я вас вызову.

Вышла я из этого дома совершенно обезумевшая и направилась к своему бараку. Из канавы выскочила Наташа: она сторожила, когда я выйду из 3-й части.

– Ну что? Зачем тебя вызывали?

– Кошмар! Не знаю, даже с чего начинать.

Спать мы уже не могли и до утра проговорили, совершенно не понимая, чем это всё может кончиться.

Через неделю меня снова вызвали к начальнику. В кабинете было новое лицо, кроме самого начальника. Это была нечесаная, страшная старуха.

Брови свисали на её глаза, чёрные и круглые, как орехи. Эти глаза так вращались и вертелись, как будто их кто-то заводил. Начальник указал мне на стул, напротив этой старухи. Я глядела на неё во все глаза, а начальник переводил взгляд с неё на меня и неспеша закурил.

– Ну? – многозначительно спросил начальник, глядя на меня.

– Это что, вопрос? – в свою очередь спросила я.

– Просто мне интересно, как вы себя чувствуете, глядя на свою сообщницу. Вы, конечно, сейчас скажете, что в первый раз её видите?

– Вот именно, именно это я и хотела сказать – первый раз в жизни вижу эту женщину.

– А как же вы объясните исчезновение ребенка? Как вы в таких обстоятельствах могли обойтись без «бабушки»? – Он хитро улыбнулся, очень довольный собой.

– Ни о каком ребенке я ничего не знаю и эту самую «бабушку» вижу первый раз в жизни!

Тут старуха вскочила и, размахивая узловатыми руками, стала на меня наступать.

– Ах ты курва! Забыла ты, мать-перемать, как я тебе помогла ребенка сжечь в печке в прачечной, а ты мне еще 30 рублей за это дала? А ты, тра-та-та, тряпки по свету свои раскидала, чтобы мне еще дело пришить?...

Начальник явно наслаждался спектаклем (и правда, ведь скучно ему было). И когда старуха чуть не вцепилась мне в волосы, он стукнул по столу кулаком и крикнул.

– На место! Молчать, старая карга! Я тебя не спрашиваю. Замолчи, я тебе говорю! Сядь!

– Ну? – опять обратился он ко мне.

– Я, знаете ли, никогда в таких переделках не была, а потому просто буду молчать, всё равно бесполезно что-либо говорить. Если уж вы, следователь, не можете разобраться в этом, что же я то могу сказать?

– Вот как? Хорошо, идите я вызову вас.

После этой «операции» я совсем потеряла покой и уже приготовилась получить 10 лет за убийство собственного ребенка!

Прошла еще неделя. 1 апреля меня начальник вызвал снова. Когда я вошла в кабинет, он встал и широким жестом руки указал мне с улыбкой на стулья – садись, мол, дорогая, привет!

– Здравствуйте, Юнг, а вы еще говорили, что я плохой следователь! Расхлебал-таки я эту кашу, а сидеть бы вам с уголовным элементом лет 10! Нашли мы девку, которая сожгла своего ребенка...

– Слава тебе, господи! – воскликнула я с радостью.

– Так-так, – посмотрел он на меня внимательно.

– Спасибо, что разобрались, а мне можно идти?

– Посидите. Ваши машины от вас не убегут. Я тут просматривал ваше дело. Меня удивила ваша запись на первом допросе. Там у вас написано... сейчас... вот тут, – он перебирал бумаги, – вот, нашел... Вы пишете: «Всей своей жизнью ручаюсь, что мой муж никакой контрреволюционной деятельностью не занимался». Теперь, когда вы отсидели три с половиной года и знаете вкус тюремного хлеба, как теперь вы бы ответили на вопрос, занимался ли ваш муж контрреволюционной деятельностью?

– Так же бы и ответила. Разве я или он изменились за это время? Стали хуже? Я его знала за кристально чистого человека, следовательно, если бы сейчас отрекалась от него, спасая, естественно, себя, думаю, что вы первый не поверили бы мне.

– Прекрасно, вот вам лист бумаги, пишете, что вы не знали о контрреволюционной деятельности своего мужа.

Я взяла ручку и написала второй раз все те же слова, что и в 1937 году. Подала ему бумагу.

– Вы забыли расписаться.

– Да? Извините, пожалуйста. – Я расписалась и села на стул.

Мой начальник снова посмотрел на меня внимательно, молча и закурил папиросу. Он явно никуда не спешил.

– Знаете, Юнг, нам очень нужны такие люди, как вы. Ведь 80% Ваших жен подали заявление о том, чтобы им разрешили развод с врагом народа – мужем. А некоторые из них прожили с ним 20-25 лет, такое отречение не внушает доверия, верно?

– Ясное дело! Даже слушать о таких противно, а при чем тут я?

– А при том, что среди вас есть такие элементы, которым следовало бы сидеть по своей статье лет 10! Они ведут подрывную работу, да еще и на волю передают разными путями небылицы о нашем лагере и о советской власти. Нам надо вскрывать эти извращения и привлекать подрывниц к ответу. Вы нам можете помочь, я вам целиком доверяю (о, счастье!). Будете

нашим сотрудником, но для дела остаетесь в лагере. Пока. Будете получать отличные посылки якобы от матери, нуждаться ни в чем не будете.

Освободим раньше срока. Пошлем работать в московских ресторанах, будем одевать шикарно, карьера будет блестящая! Вы ведь прехорошенькая! Как Вы на это смотрите?

– Я, гр. начальник, смотрю не на ЭТО, а смотрю на вас: как это вы, умный человек, не разобрались сразу, с кем имеете дело, – я же художник! Это же гиблое дело поручать художнику такие дела! Художники вечно витают в облаках, вечно всё путают, люди у них все – ангелы, кроме, конечно, милиционеров. Я не могу себе даже на минуту представить никого из наших «жен», что они какие-то там враги – прекрасные, честные, самоотверженные люди! И за что только их посадили в тюрьму! Да и меня не за что было сажать. Глупость и всё!

– Однако, вы весьма, я бы сказал, смело выражаетесь. Мы невинных не сажаем!

– В этом случае я, по-видимому, могу судить по себе и, естественно, лучше вас, потому что и дело моего мужа и моё вы только прочитали, а людей-то всё равно не знаете, как же вы можете о них судить?

– Однако! – он смущенно постукал папиросой о ноготь и строго сказал: Нам приходят дела, проверенные в высших инстанциях, так что не доверять им и доверять вам значило бы тоже забраться на нары.

– С этим, гр. начальник, я совершенно согласна, поэтому лучше отпустите меня с миром на мои нары, а сами оставайтесь в этом уютном помещении...

– Этого не будет! Я сказал. А когда я говорю, добиваюсь своего. Я хочу, чтобы вы работали с нами и – точка!

– Гр. начальник, ну какая же это точка! Скорей я покончу с собой, чем соглашусь на эту грязную работу.

– Что-о-о? Какую это «грязную работу» вы имеете в виду? Мы что тут сидим грязной работой занимаемся?

– Вы-то нет, в том-то и дело. Грязь идет от стукачей, которые, спасая шкуру, бесчестно зарабатывают себе посылки, рестораны, «шикарную» одежду...

– Как вы сказали? Стукачей? Что это еще за специальность такая?

– Не притворяйтесь. Вы отлично знаете, что такое стукач, и сами их презираете. И мы их знаем наперечет!

Он захохотал и никак не мог успокоиться.

– Вы меня прямо уморите, честное слово! Ну как я могу отказаться от такого работника? Всё же, по секрету скажите, каким это образом вы всех «их» знаете наперечёт?

– А очень просто: подкатится к тебе этакая Земскова и начнет всякую антисоветчину шептать, ну подначивать, понимаете? Дескать, то плохо, это плохо, некоторые дурочки закивают головой, а потом, глядишь, с вещами, в одиночную камеру, а там уже и до Магадана рукой подать.

– Ну, знаете!.. Вы просто клад. Я приложу все силы, чтобы с вами работать. Жаль, что надо вас отпускать сейчас: скоро вам на фабрику идти, вы ведь в ночь, да?

– Да. В ночь.

– Ну, добро. Идите, хорошенько подумайте о моем предложении.

Никому ни слова, поняли?

– До свиданья, но лучше бы попрощаться совсем.

– А это нельзя. Ни в коем случае. Это разговор не последний.

Не о смертном думай часе –  
В нём ли главный интерес:  
Смерть – она всегда в запасе,  
Жизнь – она всегда в обрез.

А. Твардовский

Естественно, Наташка и Нора в тот же вечер были посвящены в мою беду. Что делать? Согласиться работать и ничего не делать? Дураков нет.

Стоит вопрос «быть или не быть». С удвоенным вниманием я стала делать йоговские упражнения. Я чувствовала свое влияние на людей и надеялась, что в разговоре с начальником 3-й части сумею его убедить. Через три дня снова меня попросили, но без конвоира – вызвала нач. цеха. «Готовься к бою», – сказала я себе.

Мой начальник сидел за столом, с удовольствием затягиваясь папиросой.

– А-а, Юнг! Прошу, – и он указал на стул напротив себя. – Продолжим нашу интересную беседу.

– И надолго вы предлагаете мне сесть?

– Это целиком в вашей власти. Стоит оформить анкету – и вы свободны. Как же вы решили?

– Гр. начальник, поверьте мне на слово, вы сделаете самый благородный и самый умный шаг, если откажетесь от своей идеи.

– Ну, это уж позвольте мне решать. Я сказал. А это равно закону. Так будет, вопрос стоит так: если вы за советскую власть, вы будете работать с нами. Если нет, вы против советской власти!

Я невольно засмеялась.

– Гр. начальник, вы упрощаете дело. Разве в хлебопекарне работают люди против советской власти? Вы что, едите антисоветский хлеб? А я даю фронту громадное количество гимнастеров, бесплатно, что это – антисоветские гимнастерки? По-моему каждому своё, и каждый должен делать не чужое, а свое дело, тогда всё будет в стране нормально. Не надо музыканта заставлять таскать кирпичи. Это не целесообразно.

– Одну минутку... там меня ждут, я сейчас вернусь. – Он вскочил и исчез. Вернулся, закурил.

– Право, Юнг, вы очень мне симпатичны, давайте без дальних слов приступим к делу. Секрет в том, что и после освобождения вы не сможете

жить в Москве и получите паспорт, с которым никуда не сможете устроиться работать. А если будете работать с нами, и раньше освободитесь, и будете иметь целый ряд преимуществ.

– Я снова повторяю вам, что ни за что не соглашусь работать таким образом, и если вы меня до этого доведете – я знаю, у Вас целый арсенал средств для этого, – то я покончу с собой...

– Ай-яй-яй, как нехорошо! Такая спекуляция обычно у нас не проходит – в 25 лет не кончают жизнь.

– А я знаю, что если до 25-ти не покончат счеты с жизнью, то потом уже не осмелятся, ко всему привыкнут!

– Ладно. Вы тут посидите, подумайте, а я пойду обедать.

Он ушел.

Ласковое солнце побежало зайчиком по стене. Было странно сидеть в комнате одной, в тишине. Ведь мы привыкли жить в толпе, всегда на людях. Мысленно я призывала своего Сережу помочь мне, спасти и отвести от меня удар. Но реальность была неумолима. Вошел начальник, довольно потирая руки (хорошо пообедал), и снова закурил.

– Скучаете? А Вы обедали?

– Нет, конечно. Да теперь уже поздно идти в столовую – мне скоро в цех.

– Право, Юнг, и что вам за охота морочить мне голову, давайте оформимся – и делу конец, а?

– Напрасно вы затеяли это дело. Не столько я вам нужна, сколько вы тешите своё самолюбие, и ничего этого вам не надо, а надо просто поставить на своём, не понимая, что если человек будет насильно работать, он будет плохо работать и, быть может, загубит не одну хорошую жизнь, зачем вам это? Я же говорю вам твердо: этому никогда не бывать...

– Ну, тогда до свидания. Вы еще не созрели. Поговорим завтра, а сейчас идите в цех.

Наталья взяла мне обед в столовой, я быстро поела и побежала в цех.



На другой день после 12 часов работы в цехе я только собралась лечь спать, пришел конвоир и пригласил в 3-ью часть.

Стояла солнечная весна, бежали ручейки, и воздух весь искрился светом и теплом. Тоска сжала мне сердце: «Только бы хватило сил!»...

Моему начальнику нравилась эта игра. Начался очередной поединок, я была как пружина, скрученная до предела. Выбрасывая фразы, я раскручивалась и делалась слабее. Но он тоже слабел. Его подводило неумение мыслить с железной логикой – иногда он выскакивал из комнаты, чтобы обдумать, разобраться в моих словах. Наконец его весёлость уступила место раздражению.

– Долго мы с вами будем играть в кошки-мышки? Встать! – Я встала.

– Вот так и стоять! Думать стоя. Эй, Иван, где ты там? – крикнул он, приоткрыв дверь.

– Здесь, тов. начальник.

– Иди, подежурь здесь в кабинете. Я пойду обедать.

– Есть, тов.начальник.

– Не позволяй сидеть этой гражданке. Пусть до моего прихода постоит, ей надоело... сидеть.

Я не спала ночь, ничего не ела, но этот первый «день стоя» я все же хорошо выдержала. Я представила, где бы могла так стоять: в очереди за билетом в театр или кино (мы часто с Сережей стояли) или ожидая автобус до дома или на платформе в ожидании поезда на дачу. Но стены равнодушно смотрели, и беззвучно бежало время.

Начальник пришел, посмотрел, как хорошо я стою и сказал:

– Ну, как? Будем дружить, говорить, работать или отложить на завтра?

– Мне все равно. Говорить не о чем.

– Да? Ну, тогда до завтра, прошу к 9 часам.

– Я же работаю в ночь.

– Ну и что же? Я же не ночью вас вызываю, а когда Вы свободны, днем, даже утром. И так, к 9-ти. Ты свободен, Иван, – повернулся он к стрелку, какому-то безличному истукану. Я ушла.

Наталья, как всегда, ждала меня в канаве.

После работы в цеху и в состоянии легкого транса я пошла к 9-ти часам в 3-ю часть. Всё повторилась сначала. Разговора было мало, но я стояла и «думала». Просила воды, и Иван давал мне пить, я видела, что он меня жалеет, но сделать ничего не мог. А начальник, чтобы не жалеть, попросту уходил; возвращаясь, только спрашивал: «Ну, как?» Я молчала и только раз сказала:

– Мне за вас стыдно, ведь вы коммунист.

На что он засмеялся неохотно и сказал: «С врагами надо поступать жестоко».

Так было 5 дней.. Ноги распухли, и тяжесть их была каменной. В голове было совсем пусто и легко. Только иногда вдруг плыла вся комната, и я начинала падать. Тогда Иван несколько минут сдерживал меня и давал воды. Говорил же только одно слово: «Ничаво... эх, ма...».

Переворачивая в голове страницы назад, я вдруг вспомнила о проводах, уходящих в землю на электростанции. И дальше уже развивалась мысль: «Все равно, «он» меня не оставит в покое, не это, так другое, а согласиться работать – позор! С какими глазами вернуться домой? А Серёжа? Это – нет. Тогда – что? А если покончить со всем этим, то надо уйти отсюда до 6-ти часов, позже меня не пустят на электростанцию. Значит, когда придёт, чтоб отпустил, якобы согласиться работать...Надо попробовать, ведь стоять я больше не могу и голова чужая, даже немного сумасшедшая, лезет что-то несурзное в голову». Так размышляя, я решила, что это даже прекрасно – умереть за Сережу!

Вошёл мой весёлый мучитель.

– Ну, как?

– Я согласна.

– Вот видите, как всё просто и совсем не страшно. Сейчас возьмем анкетку, напишем заявленище. Ты иди, Иван, твоя работа кончилась.

Иван с сожалением посмотрел на меня и вышел, наверное, подумал: «Все вы бабы такие...».

Анкету и заявление писал начальник, я только расписывалась ватными руками.

– Фамилию оставлять нельзя, какую бы нам придумать, а?

– Мне все равно...

– Хотите Крылова?

– Да чёрт бы её взял, фамилию. Не всё ли равно? Вы бы меня отпустили, ведь я в обмороке.

– Сейчас, сейчас, устройтесь поудобнее на стуле, все сейчас сделаем. – Он весь сиял.

Когда все написали, начальник взял стул и подсел ко мне, чуть ли не касаясь колен. С увлечением он стал мне рассказывать мои обязанности и где и как надо прятаться, когда незаметно от заключенных пробираешься к нему. Никто не должен, естественно, знать о твоей «деятельности».

«Господи, ну когда же он кончит?» – думала я с тоскою. Провода тянули меня к себе со страшной и мучительной силой – только бы скорее!

Наконец, спотыкаясь и еле переставляя ноги, я очутилась за порогом. Передо мной была прямая и широкая дорога прямо на электростанцию. Несколько шагов, и вдруг – Наташка! Я про нее забыла начисто!

– Ты куда?

– Слушай, Натуль, дай мне побыть одной, уйди, ради бога, отстань!

– Ну, уж это нет! Идём ужинать, а через полчаса уже идти в цех и вообще... Вижу, ты и на ногах-то не стоишь...

Так моё распрекрасное решение надо было отложить. Полежав в бараке несколько минут, мы пошли в цех.

В тот вечер я потеряла ориентировку, плохо видела, всё у меня качалось и кружилось. Голова была просто оболочкой, за которой было пусто и легко. Наталья носилась по цеху, а я отлеживалась в кабинке.

Но всё же пришлось идти к машинам. Когда я стала шить, вдруг почувствовала, как холодеют руки и ноги. Глаза же увидели, как на меня набросились...мыши! Эта галлюцинация была так ужасна, что я выскочила из-за машины и закричала: «Мыши, мыши!»

Видимо, вид у меня был не из нормальных – кто-то меня вывел из цеха и повёл в больницу. Я не помню этот путь. Осталось в памяти, как меня обернули мокрой простыней уже раздетую и уложили в постель. Я сразу «провалилась», как в пропасть.

Я проспала около 3-х суток! Мне ещё дали люминал, ведь никто не знал, что я не спала 5 суток. Проснувшись, я никак не могла понять, где я, почему вокруг всё белое. Вероятно, было утро, солнце заливало комнату радостным светом. У другой стены стояла больничная койка, на ней никого не было. Я подняла руки к глазам и вдруг увидела пальцы, на которых синели пятна от чернил. Я вспомнила всё сразу и села, поражённая тем, что я написала заявление и анкету. Голова у меня снова закружилась и я, лёжа, старалась взять себя в руки, успокоиться, обдумать, что же теперь делать. О «покончить с собой» не могло быть и речи: момент был упущен.

Вошла врач.

– Наконец-то! Я думала, ты уже не проснешься никогда, я уже хотела что-нибудь предпринимать. Тут Наташа тебе принесла даже сахару...Сейчас надо выпить кипятку с хлебом.

– Спасибо, надо что-нибудь съесть, а то голова кружится...

Через несколько дней я вышла из больницы. Мы с Норой и Натальей без конца обсуждали, что же теперь делать? А первое «задание» было весьма оригинальным – принести Наташины письма из дома... «к нему». Со всем вниманием и настойчивостью я стала заниматься йоговскими упражнениями, делая упор на сосредоточенность и т.н. «создание вокруг себя ауры» (это как

бы невидимая стена, за которой человек неуязвим, как за бронёй). Меня пока никто не вызывал. По «заданию» я должна была сама идти в 3-ю часть.

Недели через две я почувствовала, что подготовила себя для новой борьбы. Вечером, за 20 минут до поверки, я пошла в 3-ю часть. «Учитель» сидел за столом, сосредоточенно сдвинув брови, и писал, окруженный бумагами.

– А-а-а-а, Юнг, давно, давно я вас жду, проходите.

Он встал и протянул руку как сотруднице.

– Нет, нет, гражданин начальник, не надо руку, я пришла сказать, что работать не буду.

– Это что, насмешка? Да вы хоть представляете себе, что это для вас значит? Это после того, как вы написали свое добровольное желание работать и помогать Советской власти?

– Здесь ни при чем Советская власть, и пожалуйста, не перебивайте меня, мне надо за несколько минут сказать все. Итак, я предоставляю вам делать со мной все, что вам будет угодно: дать мне 10, 15, 20 лет самостоятельной статьи, расстрелять, убить любым способом, я на все согласна, но то, что вы мне предлагаете, просто невозможно и не будет все равно.

– Вон, вон отсюда! – Ярость его была неукротимой, он даже топал ногами.

Я вылетела из этого дома как пуля, и более прекрасного слова, чем «вон», не мог бы он подобрать, а я услышать. Но я понимала, что этим дело не кончится. Так и случилось. Но вызвал меня не он, а начальник фабрики Осипюк. Закрыв, как всегда, глаза и откинув назад голову, он объявил:

– Сегодня в ночь пойдёшь во 2-й цех, там механик нужен.

– Это же цех уголовников, рецидивистов, они меня, как Жернову, через два часа убьют!

– Нечего выдумывать, никто её не убил, «просто» глаза что ли выкололи? С этими людьми надо уметь ладить.

– Но я-то тоже не умею...

– Научишься, не велика наука. Что за разговоры? Мое дело маленькое

– выполнить приказ и всё! Сегодня в ночь. До свидания.

Так вот как мой мучитель решил доконать меня– чужими руками. Надо было снова собираться, и уже в самом неизвестном и неизведанном направлении. Подготовив себя к психологическому бою с девяноста неизвестными, я пошла в цех, наводящий ужас на всю фабрику. Там шили ватные военные телогрейки самые отчаянные рецидивисты. Весь цех был пронизан едкой пылью от разбиваемой ваты. Несколько человек стояли у большого стола в середине цеха и лупили палками вату. По сторонам цеха жужжали, как пчелиный рой, машины. За машинами сидели, как мне показалось, мужчины и женщины. Последние очень своеобразно повязывали на голову платок – он закрывал лоб и брови спереди, а на затылке торчали кокетливо два конца косынки. Другая половина (машинисток, как оказалось) представляла из себя своеобразных мужчин. Он (даже неудобно говорить «она») был в брюках, с короткой стрижкой, некоторые даже в фуражке, с особым хрипом голоса, видимо от махорки, потому что все они курили.

Я хорошо знала, что мне надо держаться независимо и всем своим видом показать, что я «ни черта не боюсь». Малейшее неуверенное движение немедленно вызовет реакцию на желание «позабавиться» над жертвой. Рассказов на эту тему ходило по лагерю много.

Кабина механика в конце зала. Я смело двинулась в путь, проходя мимо машинисток. Попробовала перекинуться незначительными словами, в ответ - отборный мат и смех. Вспомнила Рашель. Но её система мне не подходила.

В кабине, в углу, на корточках сидит злющее существо. Глаза – угли. Рябая, с остервенелым выражением лица, как будто сейчас на тебя бросится. Было впечатление, что она прибита к стене. Я с ней поздоровалась, спросила, как зовут. Молчит и только следит за каждым моим движением.

Часа в 3 ночи смотрю: человек 10 машинисток остановили машины и положили головы на ладони – отдыхают. Одна приходит в кабину.

–Эй, ты, пигалица (матерщина), давай жми туда, машины не работают!

Подхожу, сажусь туда – ни одного стежка не делает машина. Другая – также. И так все 10. Все меня нахально разглядывают и отпускают шуточки, от которых по спине точно змеи бегают. Впервые я услышала не просто матерщину, а «артистический» мат. Этажность его – небоскрежная, остроумие – классическое, туда бы к ним бы О. Генри!

– Ну и здорово у вас получается, даже понять ничего невозможно!

– Контрик, вот и не понимаешь, да ты не тушуйся, мы тебя научим, ха-ха-ха!

– Ладно, идите, отдыхайте, я займусь машинами.

– Да мы (тра-та-та) ими уже «занимались», нарочно раскурочили...

Пиши уж сразу рапорт о простое, а то выпуска продукции не будет – попадешь в карцер. Так и пиши: «Дескать, раскурочили нарочно».

– Писать я ничего не буду, а пока я чиню машины, вы можете вполне отдохнуть.

– Отдохнуть мы, конечно, хотим и отдохнем (ха-ха-ха) обязательно, для того тебя сюда и прислали.

Наконец они завалились на тюки с ватой, а я принялась за машины. Номер был совсем простой – они поменяли между собой челноки, а машины, которым было по сто лет, привыкли только к одному, типично своему челноку, следовательно, надо было только все подобрать по адресу. Через час или больше машины шили. Девки окружили меня и стали снова говорить о рапорте. Простой 10 машин, естественно, невыполнение цехом нормы.

– Отстаньте, – говорю сердито, – зачем я буду писать на 10 человек, когда может отсидеть один? (Втайне я даже хотела куда-нибудь подальше.) Я жаловаться не буду, так вы это, братцы, раз и навсегда бросьте!

Попробовала бы я пожаловаться! И часу не проживешь после жалобы – у них свои законы, и иногда очень благородные, как ни странно это звучит.

– Валяй, посмотрим, как тебя «благословит» начальник, вша серая!

Так прошла моя первая ночь с чудовищами. Я знала, что мне следует пройти своеобразную проверку на прочность, и знала, что прошла только первую.

Утром пошла к «серому».

– Гражданин начальник, вы заинтересованы, чтобы у вас во 2-ом цеху удержался механик?

– Ну?

– Так дайте мне на три дня разрешение на невыполнение нормы, как, например, сегодня.

– А что было сегодня? – он немного даже приоткрыл глаза.

– Сегодня нет выпуска, едва 50%.

– Ладно, три дня даю на знакомство с людьми.

Наталья была в ужасе и уже не ждала меня сегодня в барак. Но день был как день. Спали до обеда, затем пообсуждали, как себя вести дальше, и надо было снова отправляться в цех. Пришла пораньше, поговорила с механиком из другой смены, чтобы узнать, какие из машин особенно плохи.

Промаслила, почистила. Узнала, что помощницу мою, фракционщицу, которая надевает ремни на трансмиссию, зовут Аня Тихомирова. В кабине она опять сидит.

– Здравствуй, Ань! Хочешь перекусить, тут я принесла хлеба с маслом, мне мама посылку недавно прислала.

– Пошла ты, тра-та-та! Я хлеб контриков не ем!

– Ну и дура, хлеб тюремный, и у тебя и у меня одинаковый.

Работа началась. Машины жужжат. Вата – хлоп-хлоп, ключьями рвется из-под палки, в цехе все серое от пыли, в горле першит, глаза ест. В середине ночи решила пойти в уборную. Через ЭТО надо пройти. Там совершаются все, как они выражаются, «кошмары нашей жизни». Могут, как Жерновой, выколоть глаза пальцами. Могут запихнуть в дыру уборной, утопить, могут



задушить, «порезать», могут все. Когда-то надо пройти «кошмары нашей жизни».

По пути за мной встают из-за машин девки, здоровенные коряги с выдвинутой челюстью. Идут за мной. Сердце начинает глухо толкать куда-то в самое горло. «Иди, не бойся, только ничего не бойся», – говорю я себе.

Уборная огромная. По трем стенам сплошной стульчак, изрезанный дырами. Тусклая, грязная лампочка в потолке. «Неужели перед смертью последний взгляд – вот на это?» – думаю я. Не показать страха – вот главное.

Только вошла, три девки крепко придвинули меня к стене. И началось. В извилинах мата невозможно было сразу отметить смысл слов и «юмор» их забавы. Ясно было одно – им нужен был спектакль со слезами, с мольбами, быть может, ползание на коленях (что и было с Жерновой). Поэтому, внутренне дрожа, я засмеялась и стала с ними говорить. Видя, что я вроде бы их не боюсь, одна из них – Верка-Пуп, наставила мне пальцы в глаза...

Ощущение, прямо скажем, весьма неприятное. Но ярким огнем во мне горела только одна мысль – сделать комедию неинтересной, скучной, тогда пропадет весь смысл издевательства, вернее садизма. Надо было лишить их этой эйфории, с которым они с надеждой ждали моего поражения, унижения, ужаса.

– Ну, хватит дурака валять, – сказала я, отстраняя противные пальцы, – хоть бы придумали что-нибудь поновей: – то глаза выбьете, то искупаете – старо и скучно! А потом, чего так торопитесь? Пришлют нового механика – тоже убивать будете? И что за радость, дурачьё вы – и больше ничего!

Интересно, что мои слова так удивили их своей сердитостью и спокойствием, что как-то сникло возбуждение – было ясно: тут не будет ничего интересного.

– Лучше бы дали нормально пописать, – сказала я, смеясь.

– Ведь меня к вам в цех направил начальник 3-й части, чтоб вы меня здесь пришибли...

– Ой! За что? Гад какой!

– Всё за то, что своих не хотела продавать.

– Вот это по-нашему, в рот и нос его... Ты, видать, своя в доску девка, пошли.

Они обняли меня, и мы вошли в цех прямо-таки сестрами во Христе. Со всех сторон на нас смотрели машинистки. Мои новые друзья провозгласили, что, если меня кто тронет, тому они вырвут часть их принадлежностей к телу, самую главную.

Я вошла в кабину, еле держась на ногах. Анька вонзила в меня свои злющие глаза: «Что, не удавили, тра-та-та?»

– Нет, не удавили. А какого чёрта ты, как змей, шипишь? Будь человеком, нечего из себя зануду строить!

В ответ небоскрёб из матерщины, но, как ни странно, он был смягчен именно моей сердитой тирадой. Налила себе кипятку и уселась пить чай с хлебом, посыпанным солью, – каким же он показался мне вкусным! С этих пор я стала «своя в доску», и меня решительно никто не обижал. Только никак не могли наладиться мои отношения с Аней. Когда она входила в кабину, ей надо было непременно сесть именно на то место, где сидела я. «Подвинься (с «матерью», естественно), расселась тут!» Долго она кобенилась и злилась, но однажды всё-таки распила со мной чай и удостоила взять у меня сала и чеснока. Это было равно взятию неприступной крепости. Начали понемногу разговаривать. Особенно ей хотелось рассказать о своей «кошмарной жизни». Они все это любили. Анна рассказывала с воодушевлением и талантом. Если бы еще отучить её от матерщины, её рассказы были бы достойны записи, ведь жизнь её была действительно страшной. С детских лет, убегая из детдома, она вскоре попадала в тюрьму. В свои 35 лет она сидела уже пятый раз за воровство.

Проходили дни, один похожий на другой, и вот в один из таких дней, когда мы с Анной уже подружились, возник такой разговор.

– Ты что, Ань, сегодня какая-то ушибленная? Случилось что ли что?

– Вот и случилось. Не жить мне на белом свете, если ты не будешь моей женой!

Гром среди ясного неба! Господи! Сколько можно? Я прямо чуть не свалилась с табуретки замертво! И дальше:

– Вообще-то, если ты не согласишься, – и тебе не жить – зарежу, никому не достанешься.

– Я и вижу, ты совсем больная. Или сумасшедшая... Это даже не смешно.

– Я не смеюсь. Просто ты в этих делах ничего не понимаешь... Я тебя люблю, вот ведь какое дело.

– Боже сохрани, ничего не объясняй, ничего «такого» я не хочу знать. А ты, значит, решила себя искалечить и меня тоже? Хороша любовь.

– Это сильнее мужской любви, ты просто не понимаешь.

– Знаешь, Аня, давай мы с тобой эту тему перенесём на срок, а тем временем просто хорошенько познакомимся. Ты о себе много рассказала, а я ничего, так давай теперь я буду о себе рассказывать, а там... видно будет.

Была как раз пересменка – день и ночь свободны. Снова и снова потащила по баракам искать совета и утешения у более опытных старших друзей. Но разве Нора могла ответить за меня на лестное предложение выйти замуж? Все «женушки», получившее по 5 и 8 лет за мужей, только хохотали, как сумасшедшие: «Ай, да Маринка! И тут нашла любовь!» Но мне совсем не было смешно. Пошла за советом к Осипюку.

– Гражданин начальник, переведите меня из этого 2-го цеха, не могу я там работать.

– Ещё чего! А там работать кто будет? И вообще, наладила отношения с людьми, не бузят, работают. В чём дело-то?

– Да вот оказия какая, там эта фракционщица, А. Тихомирова, мне предлагает замуж за неё выйти.

– Ну что, там все друг с другом живут, попробуй и ты! – и он залился самым радостным смехом.

– Вы, гражданин начальник, хоть бы думали, о чем говорите. Лучше уж пускай зарежет, как и обещала.

– Если обещала, зарежет. Обязательно.

– Так что делать-то? Хоть бы совет какой дали.

– Это уж твое дело, Юнг, не могу я разбирать «любовные дела», а перевести нельзя – мне голову снимут. Если сумела справиться с 90-ми, то с одной-то делов на копейку! До свиданья, некогда мне с ерундой возиться.

Так я начала свою педагогическую деятельность. Надо было, лишаяеое привычных понятий и извращений, заменять их обязательно новыми и необычными для нее понятиями и даже мечтами. Сначала я рассказала о своём романе с Серёжей. Роман этот в самом деле был на редкость необычным и красивым. Можно было бы здесь вставить главу о моем четырёхлетнем замужестве и далеко не ординарной личности моего мужа, о чём я красочно и со страстью рассказывала Ане. Но это совсем отдельный разговор, тем более что вся эта история с цехом рецидивистов окончилась неожиданно и скоро. Все же 6 месяцев я там работала. Однажды, после ночной, смены я спала на нарах: ведь в ночь опять идти в цех. Одна из дежурных «жён» подёргала меня за ногу: «Мариш, тебя там какая-то уголовница, урка спрашивает». Спустилась, вышла из барака. Подходит ко мне в телогрейке лет восемнадцати девка, свирепого вида.

– Пошли, поговорить надо.

– Куда пошли и зачем, говори здесь.

– Говорят тебе: надо, – значит, надо, пошли.

– Ну, пошли, черт с тобой, мне надо.

– Выспишься, не волнуйся, там хорошо спится. – И она показала на небо. Пошли к бане, там поляна была, забор и вышки.

– Ну, говори, чего тебе надо? – спрашиваю.

– Разговор короткий, если через три дня не покончишь свой роман с Аней, будешь тут лежать, и она, распахнув телогрейку, показала мне финку.

– Да, это серьезно. Только романа нет никакого и не будет никогда, и тебе не советую этим заниматься, ты ещё девчонка совсем.

– Я тебя предупредила, решай сама. – И она повернулась и ушла.

По глупости я это вечером рассказала Ане и не заметила в работе, как она исчезла из цеха. Уже в три ночи смотрю – идет по цеху белая, как бумага. Я говорю: «Где ты была, что это с тобой?» – «Ничего, я этой Надьке выдала, неделю не встанет» – «Глупая ты совсем, ведь она убьёт меня!» – «Тогда весь барак порежу».

Проходит неделя. Однажды иду в цех по лагерю, мимо пробегает какая-то урка и на ходу говорит: «Не ходи туда, за баракom ждут тебя, зарежут».

Я свернула с дороги и прямо к начальнику фабрики Осипюку.

– Гражданин начальник, что делать? – Вот так и так, передаю события.

– Надоела ты мне, Юнг, до смерти. Иди в какой-нибудь барак, но не свой, и не выходи, пока не вызову.

Через два дня стрелок пришел и сказал: «Завтра пойдешь работать в 7-й цех с утра». Это мой родной, седьмой, из которого меня убрали. Снова я со своими «женушками». Через некоторое время Анна с компанией снова что-то украли и переправили за зону. Их поймали и посадили в «Белый дом» – так называли мы тюрьму в нашей зоне. Потом отправили эту компанию в лагерь, где добывают уголь. Через некоторое время я получила письмо, неграмотные каракули, где мне было сообщено «другом» Ани Тихомировой, что она бросилась с угольной шахты и разбилась, а перед этим сообщила мой адрес этой, тоже, видимо, уголовнице.

Так закончилась эпопея с моей несостоявшейся должностью стукача. Начальник 3-й части больше меня не вызывал, быть может, ему донесли, что у меня стали частенько горловые кровотечения неизвестного происхождения.

Так добралась я до 42 года, и 27 сентября была выпущена вместе с группой других, отсидевших 5 лет, жён. Но так как мы были прикреплены к фабрике, где шили военное обмундирование, то почти ничего не

изменилось, кроме того, что мы стали вольнонаемными. Я так и продолжала работать механиком швейных машин, а жила у Пономаревой Наталии Осиповны, совершенно необыкновенной доброты женщины. У неё уже был убит на фронте муж, а сын был на войне. Трое других были при ней – 12-ти, 5-ти и 3-хлетний.

Сибирячку эту я никогда не забуду и вечно буду благословлять её. Из ее письма в Москву я узнала, что лагеря этого уже нет, там парк, а ее сыновья все живы и получили высшее образование.

Примерно через полгода болезнь внезапно меня поразила горловым обильным кровотечением. Я была доставлена в лагерную больницу, где работали два прекрасных эвакуированных врача: доктора Фишман Мария Наумовна и Каменецкий Борис Маркович. Они возили меня в Анжерку на обследование, туберкулёз отпал, но было обнаружено редкое заболевание от отсутствия витаминов – «тромбопения», или проще - ломкость сосудов. Это и теперь даёт себя знать. В общей сложности я проболела 9 месяцев, иногда выходя из больницы, а затем снова в неё попадая. Таким образом, медицинская комиссия лагеря определила мне инвалидность I группы, и я была откреплена от фабрики. Так я могла уехать со своим «волчьим паспортом» в «минус большие города». Я поехала в зерносовхоз им. Крупской, недалеко от Меликесса, где жили родители моего мужа. Они туда поехали потому, что Красковский Иван Игнатьевич, живший в Куйбышеве, тоже был арестован, а выпущен уже на носилках, почти умирающим. Брат моего мужа Мстислав тоже был арестован и умер в лагере, отсидев один год.

Валентина Семеновна, моя свекровь, выходила мужа, и они поехали в деревню, чтобы «воскреснуть из мертвых».

Там я поступила в школу учительницей черчения, астрономии и рисования. Мы с родными мужа постоянно писали в НКВД с просьбой сообщить нам о нем. Ответ всегда был такой же, какой я получала на свои заявления в лагере: «Жив, работает по-специальности». А в 45-м году получили другой ответ: «11 августа умер от заражения крови».

«Свежо предание, но верится с трудом!»

Писать о моих мытарствах до 1956 года, видимо, надо, и это отдельный труд. После получения сведений о Сергее Красковском в 1947 году я снова вышла замуж за Сергея Борисовича Гейнтце, замечательного человека, артиста и режиссера в городе Меликессе. Потом мы жили в Курске, где у меня родился сын, но, так как судьба или звезда моя очень много мной занималась и следила непрерывно, как бы не стало мне вдруг слишком хорошо и спокойно, отняла у меня сына 6-ти месяцев. После смерти сына наши отношения с Гейнтце оставались чрезвычайно дружескими и теплыми, но семьи уже не было. Он уехал в Минск, и там у него образовалась новая семья. Мы же встречались ежегодно и уже в Москве продолжали нашу дружбу.

Это коротко до реабилитации.

Надо сказать, что с момента освобождения до реабилитации, в 1942-1956 годы, произошло много самых невероятных тяжелых событий. Об этом, не знаю, надо или не надо когда-нибудь писать. Кому это может быть интересно, не знаю.